ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

К. Симонов
А. Толстой
М. Шолохов



В. Богомолов
Л. Кассиль
Р. Погодин
А. Митяев
В. Осеева

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕЧАТАЮТСЯ БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ

Рассказы о войне

Лев Абрамович Кассиль, Радий Петрович Погодин, Анатолий Васильевич Митяев, Валентина Александровна Осеева, Константин Михайлович Симонов, Алексей Николаевич Толстой, Михаил Александрович Шолохов, Владимир Осипович Богомолов

Аннотация
Рассказы о войне. (сборник)
Лев Абрамович Кассиль. Рассказ об отсутствующем
Радий Петрович Погодин
  Послевоенный суп
  Кони
Анатолий Васильевич Митяев
  Отпуск на четыре часа
  Мешок овсянки
Валентина Александровна Осеева. Кочерыжка
Константин Михайлович Симонов
  Малышка
  Свеча

Алексей Николаевич Толстой. Русский характер
Михаил Александрович Шолохов. Судьба человека
Владимир Осипович Богомолов. Иван
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Аннотация

Книжное литературно-художественное издание для детей среднего школьного возраста.

Художник Подивилова Ольга Васильевна.

Рассказы о войне (сборник)

© В.О. Богомолов, наследники, текст.
© Л.А. Кассиль, наследники, текст.
© А.В. Митяев, наследники, текст.
© В.А. Осеева, наследники, текст.
© Р.П. Погодин, наследники, текст.
© К.М. Симонов, наследники, текст.
© А.Н.Толстой, наследники, текст.
© М.А. Шолохов, наследники, текст.
© О. В. Подивилова, иллюстрации.
© ООО «Самовар-книги», составление, серийное оформление.

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ



Художник
Ольга Подивилова

Лев Абрамович Кассиль
Рассказ об отсутствующем



Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награжденных, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шел к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко пожал награжденному руку, поздравил и протянул орденскую коробку.

Награжденный, выпрямившись, бережно принял в руки орден и коробку. Он отрывисто

поблагодарил, четко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежавший у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом снова выпрямился.

— Разрешите обратиться?

— Пожалуйста.

— Товарищ командующий… И вот вы, товарищи, — заговорил прерывающимся голосом награжденный, и все почувствовали, что человек очень взволнован. — Дозвольте сказать слово. Вот в этот момент моей жизни, когда я принял великую награду, хочу я высказать вам о том, кто должен бы стоять здесь, рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы.

Он протянул к сидящим в зале руку, на ладони которой поблескивал золотой ободок ордена, и обвел зал просительными глазами.

— Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас со мной.

— Говорите, — сказал командующий.

— Просим! — откликнулись в зале.

И тогда он рассказал.

— Вы, наверное, слышали, товарищи, — так начал он, — какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас немцы отсекли от своих. Куда ни подадимся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нам немцы из минометов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубиц, а опушку прочесывают автоматами. Время истекло, по часам выходит, что наши уже закрепились на новом рубеже, сил противника мы оттянули на себя достаточно, пора бы и до дому, время на соединение оттягиваться. А пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что наших тут горсточка всего-навсего осталась, и берет нас своими клещами за горло. Вывод ясен — надо пробиваться окольным путем.

А где он — этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Буторин Андрей Петрович, говорит: «Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щелка имеется. Если найдем — проскочим». Я, значит, сразу вызвался. «Дозвольте, говорю, мне попробовать, товарищ лейтенант?» Внимательно посмотрел

он на меня. Тут уже не в порядке рассказа, а, так сказать, сбоку должен объяснить, что мы с Андреем из одной деревни — кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, друзья-товарищи. Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился. «Хорошо, говорит, товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно?»

Вывел меня на дорогу, оглянулся, схватил за руку. «Ну, Коля, — говорит, — давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь, смертельное. Но раз вызвался, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля… Мы тут больше двух часов не продержимся. Потери чересчур большие…» — «Ладно, говорю, Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю, что надо. Ну а уж если не вернусь, кланяйся там нашим, на Урале…»

И вот пополз я, хоронюсь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону — нет, не пробиться: густым огнем немцы по тому участку кроют. Пополз в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубоко промытый. А на той стороне у буерака — кустарник, и за ним — дорога, поле открытое. Спустился я в

овраг, решил к кустикам подобраться и сквозь них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх, вдруг замечаю, над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка, пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан — видно, пострадал где-то… Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг, сам не знаю почему, потянуло меня щекотнуть эти пятки… Даже и объяснить вам не могу. А вот подмывает и подмывает… Взял я колючую былинку да и пощекотал ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том месте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках.

— Ты что тут? — говорю я.

— Я, — говорит, — корову ищу. Вы не видели, дядя? Маришкой зовут. Сама белая, а на боке черное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет… Только вы, дядя, не верьте… Это я все вру… пробую так. Дядя, — говорит, — вы от наших отбились?

— А это кто такие ваши? — спрашиваю.

— Ясно, кто — Красная Армия… Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас немцы зацапают.

— А ну, иди сюда, — говорю. — Расскажи, что тут в твоей местности делается.

Голова исчезла, опять появилась нога, а ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на салазках, пятками вперед, съехал мальчонка лет тринадцати.

— Дядя, — зашептал он, — вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут немцы. У них вон у того леса четыре пушки стоят, а здесь сбоку минометы ихние установлены. Тут через дорогу никакого ходу нет.

— И откуда, — говорю, — ты все это знаешь?

— Как, — говорит, — откуда? Даром, что ли, с утра наблюдаю?

— Для чего же наблюдаешь?

— Пригодится в жизни, мало ль что…

Стал я его расспрашивать, и малец рассказал мне про всю обстановку. Выяснил я, что овраг идет по лесу далеко и по дну его можно будет вывести наших из зоны огня. Мальчишка вызвался проводить нас. Только мы стали выбираться из оврага, в лес, как вдруг засвистело в воздухе, завыло и раздался такой треск, словно вокруг

половину деревьев разом на тысячи сухих щепок раскололо. Это немецкая мина угодила прямо в овраг и рванула землю около нас. Темно стало у меня в глазах. Потом я высвободил голову из-под насыпавшейся на меня земли, огляделся: где, думаю, мой маленький товарищ? Вижу, медленно приподымает он свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать пальцем глину из ушей, изо рта, из носа.

— Вот это так дало! — говорит. — Попало нам, дядя, с вами, как богатым… Ой, дядя, — говорит, — погодите! Да вы ж раненый.

Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу — из разорванного сапога кровь плывет. А мальчишка вдруг прислушался, вскарабкался к кустам, выглянул на дорогу, скатился опять вниз и шепчет.

— Дядя, — говорит, — сюда немцы идут. Офицер впереди. Честное слово! Давайте скорее отсюда. Эх ты, как вас сильно…

Попробовал я шевельнуться, а к ногам словно по десять пудов к каждой привязано. Не вылезти мне из оврага. Тянет меня вниз, назад…

— Эх, дядя, дядя, — говорит мой дружок и сам чуть не плачет, — ну, тогда лежите здесь, дядя, чтоб вас не слыхать, не видать. А я им сейчас глаза отведу, а потом вернусь, после…

Побледнел он так, что веснушек еще больше стало, а глаза у самого блестят. «Что он такое задумал?» — соображаю я. Хотел было его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами — на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу… Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стой!.. Стоять! Не ходить дальше!»

Заскрипели над моей головой тяжелые сапоги, я расслышал, как немец спросил:

— Ты что такое тут делал?

— Я, дяденька, корову ищу, — донесся до меня голос моего дружка, — хорошая такая корова, сама белая, а на боке черное, один рог вниз торчит, а другого вовсе нет. Маришкой зовут. Вы не видели?

— Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко. Ты что такое лазал тут уж очень долго, я тебя видел, как ты лазал.

— Дяденька, я корову ищу, — стал опять плаксиво тянуть мой мальчонка. И внезапно по дороге четко застучали его легкие босые пятки.

— Стоять! Куда ты смел? Назад! Буду стрелять! — закричал немец.

Над моей головой забухали тяжелые кованые сапоги. Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтобы отвлечь немцев от меня. Я прислушался, задыхаясь. Снова ударил выстрел. И услышал я далекий, слабый вскрик. Потом стало очень тихо… Я как припадочный бился. Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнить задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся.

Опираясь на локти, цепляясь за ветви, пополз я… После уже ничего не помню. Помню только — когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея…

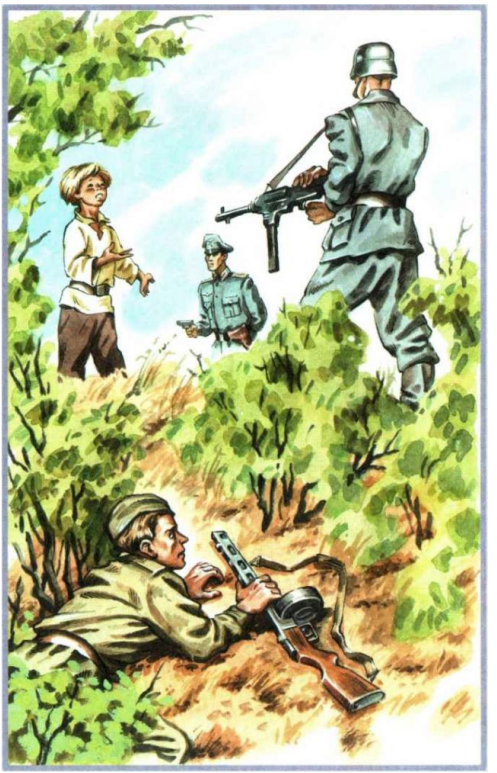
Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу.

Он остановился, передохнул и медленно обвел глазами весь зал.

— Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть вызволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. Да вот не вышло… И есть у меня еще одна просьба к вам… Почтим, товарищи, память дружка моего

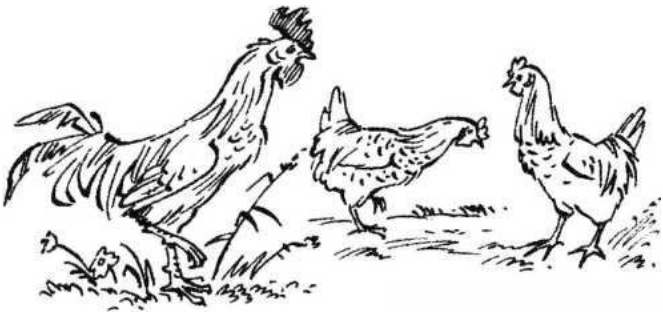
безвестного — героя безымянного… Вот даже и как звать его, спросить не успел…

И в большом зале тихо поднялись летчики, танкисты, моряки, генералы, гвардейцы — люди славных боев, герои жестоких битв, поднялись, чтобы почтить память маленького, никому неведомого героя, имени которого никто не знал. Молча стояли понурившиеся люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснушчатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге…



Радий Петрович Погодин

Послевоенный суп



Танкисты оттянулись с фронта в деревушку, только вчера ставшую тылом. Снимали ботинки, окунали ноги в траву, как в воду, и подпрыгивали, обманутые травой, и охали, и хохотали — трава щекотала и жгла их разопревшие в зимних портянках ступни.

Стоят танки «тридцатьчетверки» — на броне котелки и верхнее обмундирование, на стволах пушек — нательная бумазея. Ковыляют танкисты к колодцу — кожа у них зудит, требует мыла. Лупят себя танкисты по бокам и гогочут: от ногтей и от звучных ударов на белой коже красные сполохи.

Облепили танкисты колодец — ведра не вытащить. Бреются немецкими бритвами знаменитой фирмы «Золинген», глядятся в круглые девичьи зеркальца.

Одному танкисту стало невтерпеж дожидаться своей очереди на мытье, да и ведро у него было дырявое, он опоясался полотенцем вафельным и отправился искать ручей.

В оставленные немцем окопы струйками натекает песок, он чудесно звенит, и в нем семена трав: черненькие, серенькие, рыжие, с хвостиками, с парашютами, с крючочками. И просто так, в глянцевитой кожуре. Воронки на теле своем земля залила водой. И от влажного бока земли уже отделилось нечто такое, что само оживет и даст жизнь быстро сменяющимся поколениям.

Мальчишка сидел у ручья. Возле него копошили землю две сухогрудые курицы. Неподалеку кормился бесхвостый петух. Хвост он потерял в недавнем бою, потому злобно сверкал неостывшим глазом и тут же, опечаленный и сконфуженный, стыдливо приседал перед курицами, что-то доказывая и обещая.

— Здорово, воин, — сказал мальчишке танкист.

Мальчишка поднялся, серьезный и сморщен-

ный. Покачнулся на тонких ногах. Он был худ, худая одежда на нем, залатанная и все равно в дырах. Чтобы укрепить свое взрослое положение над этим жидконогим шкетом, танкист щедро повел рукой и произнес добрым басом:

— А ты гуляй, малый, гуляй. Теперь не опасно гулять.

— А я не гуляю. Я курей пасу.

Танкист воевал первый год. Поэтому все невоенное казалось ему незначительным, но тут зацепило его, словно он оцарапался обо что-то невидимое и невероятное.

— Делать тебе нечего. Курица червяков ест. Зачем их пасти? Пусть едят и клюют, что найдут.

Мальчишка отогнал куриц лозиной от ручья и сам отошел.

— Ты, может, меня боишься? — спросил танкист.

— Я не пугливый. А по деревне всякие люди ходят.

Петух косил на танкиста разбойничьим черным глазом, — видать, лихой был когда-то; он шипел и грозился, и отворачивал свой горемычный хвост, готовый, чуть что, уносить свое мясо и лётом, и скоком, и на рысях.

— Мужики — они все могут есть, хоть ворону

съедят. А у Маруськи нашей и у Сережки Татьяниного ноги свело от рахита. Им яйца нужно есть куриные… Тамарку Сучалкину кашель бьет — ей молока бы…

Маленький был мальчишка, лет семи-восьми, но танкисту внезапно показалось, что перед ним либо старый совсем человек, либо великан, не поднявшийся во весь рост, не раздавшийся плечами в сажень, не накопивший зычного голоса от голодных пустых харчей и болезней.

Танкист подумал: «Война чертова».

— Хочешь, я тебя угощу? У меня в танке пайковый песок есть — сахарный.

Мальчишка кивнул: угости, мол, если не жалко. Когда танкист побежал через луговину к своей машине, мальчишка крикнул ему:

— Ты в бумажку мне нагреби. Мне терпеть будет легче, а то я его весь слижу с ладошки и другим не достанется.

Танкист принес мальчишке сахарного песку в газетном кульке. Сел рядом с ним подышать землей и весенними нежными травами.

— Батька где? — спросил он.

— На войне. Где же еще?

— Мамка?

— А в поле. Она с бабами пашет под рожь. Еще

позалетошным годом, когда фашист наступал, ее председателем выбрали. У других баб ребятишки слабые — они их за юбку держат. А у нас я да Маруська. Маруська маленькая, а я не капризный, со мной свободно. Мамке деда Савельева дали в помощники. Ходить он совсем устарел. Он погоду костями чувствует. Говорит, когда пахать, когда сеять, когда картошку садить. Только ведь семян все равно мало…

Танкист втянул в себя густой утренний воздух, уже пропитавшийся запахом танков.

— Давай искупнемся. Я тебя мылом вымою.

— Я не грязный. Мы из золы щелок делаем — тоже моет. А у тебя духовитое мыло?

— Зачем? У меня мыло солдатское, серое, оно лучше духовитого трет.

Мальчишка вздохнул, вроде улыбнулся.

— У духовитого цвет вкусный. Я раз целую печатку украл у одного тут, у немца. Неразвернутую еще. Отворотил бумажку — лизнул даже. Вдруг сладкое. Маруська, так она его сразу в рот. Маленькая еще, глупая.

Танкист разделся, вошел в холодный ручей.

— Снимай одежду, — приказал он. — В ручей не лезь — промерзнешь. Я тебя стану поливать.

— Я не промерзну. Я привыкший. — Мальчиш-

ка скинул рубаху и штаны, полез в ручей спиной вперед — хрупкогрудый, ноги прямо из спинных костей без круглых мальчишеских ягодиц, широко расставленные, и руки такие же — синюшные, ломкие и красные в пальцах.

Танкист высадил его обратно на берег.

— Совсем в тебе, парень, нет весу. Ни жирины. Холодная вода — простудит тебя такого насквозь. — Он плеснул на мальчишку из пригоршни, вторично зачерпнул воды да и выпустил ее — впалый мальчишкин живот был стянут струпьями.

— Ты не бойсь. Это на мне не заразное. — Мальчишкины глаза заблестели обидой, в близкой глубине этих глаз остывало что-то и тонуло, тускнея. — Я живот картошкой спалил…

Танкист дохнул, будто кашлянул, будто захотелось ему очистить легкие от горького дыма. Принялся осторожно намыливать мальчишкины плечи.

— Уронил картошку?

— Зачем же ее ронять? Я пусторукий, что ли? Я картошку не выроню… Фронт еще вон где был, вон за тем бугром. Там деревня Засекино. Вы, наверно, по карте знаете. А в нашем Малявине было ихних обозов прорва, и автомобилей, и лошадей с

телегами. А немцев самих! Дорога от них зеленая была — густо бежали. Вон, где сейчас танк под деревом прячется, два немца картошку варили на костерке. Их кто-то позвал. Они отлучились. Я картошку из котелка за пазуху…

— Ты что, сдурел?! — крикнул танкист, растерявшись. — Картошка-то с пылу!

— А если она с маслом? У нее помереть какой дух… Плесни мне в глаза, мыло твое шибко щиплет. — Мальчишка глядел на танкиста спокойно и терпеливо. — Я под кустом с целью сидел — может, забудут чего, может, недоедят и остатки выбросят… Я тогда почти всю деревню пешком прошел. Бежать нельзя. У них, как бежишь, — значит, украл.

Танкист месил мыло в руках.

— Все мыло зазря сомнешь. Давай я тебе спину натру. — Мальчишка наклонился, зачерпнул воды, промыл глаза. — Я у немцев много чего покрал. Один раз даже апельсину украл.

— Ловили тебя?

— Ловили.

— Били?

— А как же. Меня много раз били… Я только харчи крал. Ребятишки — маленькие: Маруська наша, и Сережка Татьянин, и Николай. Они — как

галчата: целый день рты открытые. И Володька был раненый — весь больной. А я над ними старший. Сейчас с ними дед Савельев сидит. Меня к другому делу приставили — курей пасу.

Мальчишка замолчал, устал натирать мускулистую, широченную танкистову спину, закашлялся, а когда отошло, прошептал:

— Теперь я, наверно, помру.

Танкист опять растерялся.

— Чего мелешь? За такие слова — по ушам.

Мальчишка поднял на него глаза, и в глазах его было тихое неназойливое прощение.

— А харчей нету. И украсть не у кого. У своих красть не станешь. Нельзя у своих красть.

Танкист мял мыло в кулаке, мял долго, пока между пальцами не поползло, — старался придумать подходящие к случаю слова. Наверно, только в эту минуту понял танкист, что и не жил еще, что жизни, как таковой, и не знает, и где ему, скороспелому, объяснять жизнь другим.

— Вам коров гонят и хлеб везут, — наконец сказал он. — Фронт отодвинется подальше — коровы и хлеб сюда прибудут.

— А если фронт надолго станет?.. Дед Савельев говорит — лопуховый корень есть можно. Он сам в плену питался, еще в ту войну.

Танкист вытер мальчишку вафельным неподрубленным полотенцем.

— Не людское дело — лопух кушать. Я покумекаю, потолкую со старшиной, — может, мы вас поддержим из своего пайка.

Мальчишка, торопясь, покрутил головой:

— Не-е… Вам нельзя тощать. Вам воевать нужно. А мы как-нибудь. Бабка Вера — она совсем старая, почти неживая уже — говорит, солодовая трава на болотах растет — лепешки из нее можно выпекать, она пыхтит, будто с закваской. Вы только быстрее воюйте, чтобы те коровы и тот хлеб к нам успели. — Теперь в мальчишкиных глазах, потемневших от долгой тоски, светилась надежда.

— Мы постараемся, — сказал танкист. Он засмеялся вдруг невеселым натянутым смехом. — Зовут тебя как?

— Сенька.

На том они и расстались. Танкист отдал мальчишке обмылок, чтобы он вымыл свою команду: Маруську, и Сережку, и Николая. Танкист звал мальчишку поесть щей из солдатской кухни — мальчишка не пошел.

— Я сейчас при деле, мне нельзя отлучаться.

Курицы тягали червяков из влажной тихой зем-

ли. Петух бесхвостый, испугавшись танкистова шага, совсем потерял голову и, вместо того чтобы бежать, бросился прямо танкисту под ноги.

— А ты, чертов дурак, куда прешь? — закричал на него танкист.

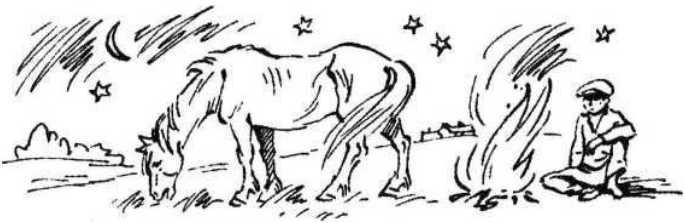
Петух окончательно осатанел, долбанул танкиста в сапог, свалился и закричал диким криком, лежа на крыле, — крик этот был то ли исступленным рыданием, то ли кому-то грозил петух, то ли обещал.

Возле танков — может быть, запах кухни тому виной, может быть, петушиный крик — пригрезился танкисту дом сытный, с кружевными занавесками, веселая краснощекая девушка и послевоенный наваристый суп с курятиной.



Р. Погодин
«Послевоенный суп»

Кони



Дед Савельев еще в первую военную весну назначил поле для пахоты — широкий клин между холмов, возле озера.

— Эту землю пашите. Эта земля устойчивая. За всю мою жизнь этот клин никогда не давал пропуску. В засуху здесь вода не иссыхает — здесь ключи бьют. В дожди с этой земли излишек воды стечет, потому что поле наклонное к озеру. И солнце его хорошо обогревает благодаря наклону. И ветер его обходит — оно холмом загорожено.

С этого клина прожили вторую зиму под немцем. Долгой была та зима. Вьюжной была и отчаянной. В малую деревню вести с фронта не попадают. А если и достигнут какие, то немцы изукрасят их на свой лад — худо…

Худо, когда печь не топлена.

Худо, когда есть нечего, ребят накормить нечем.

Худо совсем, когда неизвестность.

Но не верит сердце в погибель. Даже в самой слабой груди торопит время к победному часу.

Весна пришла ранняя. Услыхав ее, снарядились женщины пахать. Четверо тянут, пятая плуг ведет. А другие отдыхают. Пашут по очереди, чтобы не надорваться. Семена собрали по горстке, кто сколько сберег.

Сенька тоже в упряжку стал — пришел со своей лямкой в помощь. Тянет — в голове от натуги звон, в глазах круги красные.

— Ай да конь! Ну жеребец! Не ярись, не лютуй — все поле потопчешь. Ишь в тебе силы сколь — аж земля трещит.

На эти насмешки Сенька внимания не обращает. Пусть посмеются для пользы дела.

От земли пар идет. И от пахарей пар. Небо мотнулось куда-то вбок. Земля из-под ног выскользнула. Падает Сенька носом в борозду.

— Ай да конь! — говорят женщины.

После передышки Сенька снова приладил свою лямку к плугу, и прогнать его никто не решился.

Уже вспахали больше половины, когда наткнулись на бомбу. Пошли к деду. Жалко им работы,

жалко потраченной силы, а ничего не поделаешь: шевельнешь бомбу — и вырастут вместо хлеба сироты.

Дед долго сидел, глядя в окно на весну, которая — и не заметишь — обернется каленым летом.

— Нужно дальше пахать, — сказал дед. — С этого поля вы сыты будете. С другого не наверняка. Кабы тех полей много, как раньше: на одном посохнет — на другом уродится, на одном погниет — на другом выстоит. А здесь одно, да зато верное.

— Дед, бомба на нем. Ты, может, не понял иль недослышал? — сказала ему женщина-председатель.

— С бомбой я слажу, — ответил дед. Пригнулся к окну, прислонил голову к переплету. — Кабы знать, куда ее стукнуть, тогда бы мне и совсем просто. На один миг делов.

Бабка Вера, самая старая в деревне старуха, которая, как говорили, когда-то давно оседлала черта и с тех пор на нем верхом ездит, иначе как объяснишь такую прыть в ее древнем возрасте, растолкала женщин, стала перед стариком подбоченясь:

— Ты что же, сивый пень, не знаешь? Сколько раз на войне воевал и не знаешь?

— Не шуми, Вера. Система на всякой войне разная. Ты, если что, кошку мою, Марту, к себе забери.

Бабка Вера руками взмахнула — руки у нее словно клюющие тощие птицы.

— Ну, варнак! О душе бы подумал, а он о кошке.

Женщины смотрели на них с испугом.

— Вы завтра утром в поле не приходите, — спокойно сказал дед Савельев. — Сидите дома. Ты, Вера, тоже дома побудь. Не вздумай… В таком деле одному надо.

— Молод еще мной командовать! — Бабка Вера пошла, пошла по избе.

Кошка, зашипев, мотнулась на печь.

Дед вздохнул, отвернулся к окну. Он в небо глядел, на журавлиный пролетающий клин.

— Пс-ссс… — прошептала бабка. Кошка Марта прыгнула к ней на руки. — Пойдем, — сказала ей бабка ласково, — у меня побудешь.

Женщины ушли тихо. Бабка, шаркая по полу залатанными кирзовыми сапогами, унесла кошку. Сенька остался — забился на печи за стариков полушубок.

Старик у окна сидел. Закатное небо разукрасило его голову в огненный цвет.

Проснулся Сенька от старикова шага. Старик оглядывал заступ и что-то ворчал про себя не сердито, но строго.

Сенька решил: «Топора не берет, значит, отдумал тюкать бомбу по рыльцу». Внезапный крепкий сон настиг его в конце этой мысли, оттого опоздал Сенька в поле. А когда пришел и затаился в овраге, по которому вдоль поля бежал ручей, услышал: ударяет дед обухом топора по бомбе. Бомба гудит жестко, как наковальня, — звук ударов словно отскакивает от нее.

— Взял топор все-таки! — выкрикнул Сенька, и обмерло его сердце по деду, и захрустела на зубах соленая мокрая земля.

Когда в овраг пришли женщины, не утерпели, у старика уже был выкопан вдоль бомбы окопчик — узкая щель. Теперь он копал ступеньки — в эту щель плавный сход. А когда выкопал, спустился туда и осторожно скатил бомбу себе на плечо.

Женщины в овраге замерли. Куда старому такую тяжесть? Но, видать, имеется в человеке, хоть стар он и немощен, такая способность, которая помогает ему всю силу, оставшуюся для жизни, израсходовать в короткое время.

Дед полез по ступенькам наверх. Взойдет на одну ступеньку, поотдышится. Выше вздымается.

Упирается рукой в край щели, чтобы вес бомбы давил не только на ноги ему. А когда выбрался из земли, направился по борозде к озеру. Мелко идет — некрепко. Рубаха на нем чистая. Белые волосы расчесаны гребнем.

Женщины поднялись из оврага. Бабка Вера впереди всех. Без платка.

Сенькина боязнь отступила перед медленным дедовым шагом, перед его согнутой спиной, которая сгибалась все ниже. Сенька пополз по оврагу за дедом вслед.

Шея у деда набухла. Колени подламывались.

До озера он дошел все-таки. Стал на край обрыва. Бомбу свалил с плеча в воду и повалился сам. Бомба рванула. Крутой берег двинулся в озеро вместе с упавшим дедом.

Когда женщины подбежали, на месте обрыва образовалась песчаная пологая осыпь. Внизу, у самой воды, лежал дед, припорошенный белым песком. Дед еще жил.

Он был нераненый. Только оглохший и неподвижный. Женщины подняли его, отнесли на руках в избу. Там он потихоньку пришел в себя.

Ребятишки деревенские во главе с Сенькой каждый день приходили к нему, играли возле него или просто сидели.

Фронт сквозь деревню прошел, опалил ее, но не сильно — дожил дед до нашего войска.

Сеньку нарядили кур пасти, потому проглядел он дедову кончину. Тамарка Сучалкина, после Сеньки самая старшая, сидела в тот день в стариковской избе во главе ребятишек.

Дед подозвал ее и велел:

— Уводи, Тамарка, детей. Я помирать стану. Народу скажи, чтобы не торопились ко мне идти, чтобы повременили. Пускай завтра приходят.

Тамарка испугалась, заспорила:

— Ты что, дед? Ты, наверное, спишь — такие слова плетешь.

Дед ей еще сказал:

— Ты иди, Тамарка, уводи детей. Мне сейчас одному нужно побыть. Сейчас мое время дорогое. Мне нужно людям обиды простить и самому попросить прощения у них. У всех. И у тех, что померли, и у тех, что живут. Иди, Тамарка, иди. Я сейчас буду с собой разговаривать…

Тамарка не так словам поверила дедовым, как его глазам, темным, смотрящим из глубины, будто сквозь нее — будто она кисейная. Тамарка подобрала губы, утерла нос и увела ребятишек за лесную вырубку, посмотреть, как цветет земляника.

Когда Сенька узнал, что старик помер, он упал на траву и заплакал. Ушли из его головы все мысли, все обиды и радости — все ушло, кроме короткого слова — дед.

Четыре солдата — четыре обозных тыловика, пожилые и морщинистые, внесли дедов гроб на высокий холм. На этом месте был древний погост. Еще сохранились здесь древние каменные кресты, источенные дождями, стужей и ветром. Немцы рядом с каменными крестами устроили свое кладбище — ровное, по шнуру. Кресты одинаковые, деревянные, с одной перекладиной. С какой надменной мыслью выбирали они это место, на какой рассчитывали значительный символ?

Женщины придумали положить деда там же, на самой вершине бугра, чтобы видны были ему и немецкое скучное кладбище, и вся окрестная даль: и поля, и леса, и озера, и деревня Малявино, и другие деревни, тоже не чужие ему, и белые от пыли дороги, исхоженные медленным дедовым шагом. Женщины, разумеется, знали, что умершему старику уже ничего не увидеть и запахи трав его не коснутся, что ему нет разницы, в каком месте лежать, но хотели они сохранить живую молву о нем, потому и выбрали древний

высокий холм ему как бы памятником.

Солдаты снарядились дать над могилой залп из четырех боевых винтовок.

— Не нужно над ним шуметь, — сказала женщина-председатель.

Бабка Вера руки из-под платка выпростала. Вскинулись ее руки кверху, как комья земли от взрыва.

— Палите! — закричала она. — Небось солдат. Небось всю жизнь воевал. Палите!

Солдаты выстрелили в синий вечерний воздух из своего оружия. И еще выстрелили. И так стреляли три раза. Потом ушли. Женщины тоже ушли. Покинули холм ребятишки, одетые во что попало, застиранное, перелатанное и не по росту. Остались возле могилы дедовой Сенька да бабка Вера.

Сенька сидел согнувшись, уронив голову. В сером залатанном ватнике он был похож на свежую грудку земли, не проросшую травами. Бабка Вера металась среди немецких могил черным факелом. Подходила к краю бугра, и все бормотала, и все выкрикивала, словно бранила за что-то старика Савельева, по ее мнению рано ушедшего, или, напротив, обещала в своей бесконечной старости прожить и его не дожитое время.

На следующий день солдаты-обозники укатили на рессорных телегах к фронту Женщины заторопились свои дела делать. Ребятишки сели на теплом крыльце избы, в которой дед проживал, в которой сейчас было пусто, по-пустому светло и гулко и прибрано чисто.

Фронт уже далеко отошел от деревни. Лишь иногда по ночам избы начинали дрожать. Ветер заносил в открытые окна неровный накатистый звук, будто рушилось что-то, будто бились боками сухие бревна и ухали, падая на землю. Небо над фронтом занималось зарей среди ночи, но страшная та заря как бы тлела, не разгораясь, не обжигая кучных серебряных звезд.

Все боевые войска давно прошли сквозь деревню, и обозы прошли, и санитарная часть. Дорога утихла. Она бы, пожалуй, совсем заузилась, так как местному населению ездить по ней было не на чем, да и некуда. Но шли по дороге колонны машин, груженные боевым припасом для фронта, и дорога пылила, жила.

Шагал по этой дороге солдат, искал для себя ночлега. Шел он из госпиталя в свою дивизию, в стрелковую роту, где до ранения состоял пулеметчиком. Крыльцо, усаженное ребятишками, поманило его, повлекло. Подумал солдат: «Вот,

однако, изба веселая. Остановлюсь тут, отдохну в житейской густой суматохе». Солдат вспомнил свою семью, где был он у матери седьмым, самым младшим сыном — последним.

— Привет, мелкота, — сказал он.

— Здрасте, — сказали ему ребятишки.

Солдат заглянул в избу.

— Чисто живете. Разрешите и мне пожить с вами до завтра. А где ваша мамка?

— Наши мамки в поле, — ответила ему Тамарка Сучалкина, самая старшая. — Мы в этой избе не живем. В ней дед Савельев жил, а теперь помер.

Оглянулся солдат на ребятишек. Разглядел их — тощие, большеглазые, очень пристальные и тихие.

— Вот оно как, однако… — сказал солдат. — Чего же вы тут, у пустой избы, делаете? Играете?

— Нет, — сказала девчонка Тамарка. — Мы здесь просто сидим.

Девчонка Тамарка заплакала и отвернулась, чтобы другие не видели.

— Вы ступайте в какую-нибудь другую избу ночевать, — посоветовала она солдату. — Сейчас в избах просторно. Когда фронт проходил, в избах народ не помещался — на улице спали. А сейчас в избах места пустого много.

Но солдату понравилась чистая комната, привлекла тишина и широкая лавка вдоль печки. «Что я, шуму не слышал и писку ребячьего? — подумал солдат. — Зачем я буду кусок отрывать от голодных ртов? А мне самому поделиться нечем — полхлеба да полбанки консервов на всю дорогу до фронта. А еще идти вон сколько. Заночую в этой избе. Перина мне не понадобится, шинель постелю и шинелью укроюсь».

— Я здесь заночую, — объяснил Тамарке солдат. — Сразу спать лягу. А вы не шумите, мне рано вставать, я в свою дивизию тороплюсь.

Тамарка кивнула: мол, ваше дело.

Солдат положил мешок в изголовье и завалился на ночлег. Помечтал немного о медицинской сестре Наташе, с которой познакомился в госпитале, которой пообещал письма отсылать каждый день, и заснул.

Во сне он почувствовал, будто его трясут и толкают в спину.

— Что, в наступление? — спросил он, вскочив. Принялся шарить вокруг, отыскивая винтовку, и проснулся совсем. Увидел себя в избе. Увидел окна с красной каймой от закатного солнца. А перед собой разглядел мальчишку в драном и не по росту ватнике.

— Ты что в сапогах завалился? — сказал мальчишка солдату взрослым угрюмым голосом. — На этой лавке дед помер, а ты даже сапоги не скинул.

Солдат рассердился за прерванный сон, за то, что его такой молокосос уму учит. Закричал:

— Да ты кто такой? Как пальну тебе по ушам!

— Не кричи. Я тоже кричать могу, — сказал мальчишка. — Я здешний житель. Сенькой зовут. Днем я на коне работал. Сейчас его пасть погоню к озеру, на луговину. — Мальчишка подошел к двери. Лицо его просветлело, он зачмокал тихо и ласково.

Солдат тоже увидел привязанного к крыльцу коня. Был тот конь то ли больной, то ли совсем заморенный. Шкура на широкой кости висела как балахон. Голову конь положил на перила, чтобы шея у него отдыхала.

— Вот так конь! — засмеялся солдат. — Таков конь на одер да на мыло. Другой пользы от него никакой.

Мальчишка гладил коня по морде, совал ему в мягкие черные губы сбереженную корочку.

— Какой ни на есть — все конь. Жилы у него в ногах застуженные. Я его выхожу, к осени резвый будет. Нам его солдаты-обозники подарили. Они

и деда схоронить помогли. А ты, спать ляжешь, сапоги скинь. Нехорошо. Дом еще после деда не остыл, а ты в сапогах завалился.

Солдат зубами заскрипел от досады. Плюнул.

— Подумаешь, дед! — закричал. — Помер, туда ему и дорога. Он свое пожил. Сейчас маршалы гибнут и генералы. Солдаты-герои пачками в землю ложатся. Война! А вы тут со своим дедом…

Солдат лег на лавку к печке лицом и долго еще ворчал и выкрикивал про свои раны и страшные минуты, которые он претерпел на фронте. Потом солдат вспомнил свою мать. Была она уже старая непомерно. Еще до войны у нее было одиннадцать внуков от старших сынов.

— Бабка, — вздохнул солдат. — Однако всю эту ораву сейчас растит. Картошек варит не по одному чугуну. На такую гурьбу много еды нужно — сколько ртов! Ей бы отдохнуть, погреть ноги в тепле, да вот, видишь, какое дело — война. — Солдат заворочался, сел на лавке. Показалось ему, что изба не пустая, что движется в этой избе его мать в своих бесконечных хлопотах.

Солдат хотел сказать: «Тьфу ты!» — но поперхнулся. Потом прошел по избе, потрогал нехитрую утварь, стесненно и радостно ощущая, что сохранили тут для него нечто такое, о чем мог позабыть

в спешке войны.

— Ух ты, — сказал солдат, — бедолаги мои… — И закричал: — Эй! — не умея позвать мальчишку, потому что всякие слова, которыми называют мальчишек солдаты, здесь не годились. — Эй, мужик на коне!

Никто ему не ответил. Мальчишка уже ушел пасти коня к озеру и, наверно, сидел сейчас под березой, растапливая костерок.

Взял солдат мешок, взял шинель. Вышел на улицу.

Земля в этом месте полого спускалась к озеру. В деревне было еще красно от заката, внизу, в котловане у озера, собралась, натекла со всех сторон темень. В темноте, как в ладонях, горел костерок. Иногда огонь свивался клубком, иногда поднималась из его сердцевины струйка летучих искр. Мальчишка костер разжег и палкой в нем шевелил, а может быть, подбрасывал в огонь сухого елового лапника. Солдат отыскал тропку. Спустился к мальчишке на мокрый луг.

— Я к тебе ночевать пришел, — сказал он. — Не прогонишь? Мне одному что-то холодно стало.

— Ложись, — ответил ему мальчишка. — Сюда шинельку стели, здесь сухо. Тут я вчера землю костром прокалил.

Солдат постелил шинель, растянулся на мягкой земле.

— Отчего дед помер? — спросил он, когда помолчали они сколько положено.

— От бомбы, — ответил Сенька.

Солдат приподнялся:

— Прямым попаданием или осколком?

— Все одно. Помер. Для тебя он чужой, а для нас — дедка. Особенно для малых, для ребятишек.

Сенька сходил проведал коня. Потом подбросил в огонь хворосту и травы, чтобы отгонять комаров. Расстелил драный ватник возле солдатской шинели и прилег на него.

— Спи, — сказал он. — Завтра спозаранок будить буду. Дел много. Я две картошины закопал под золу, утром съедим.

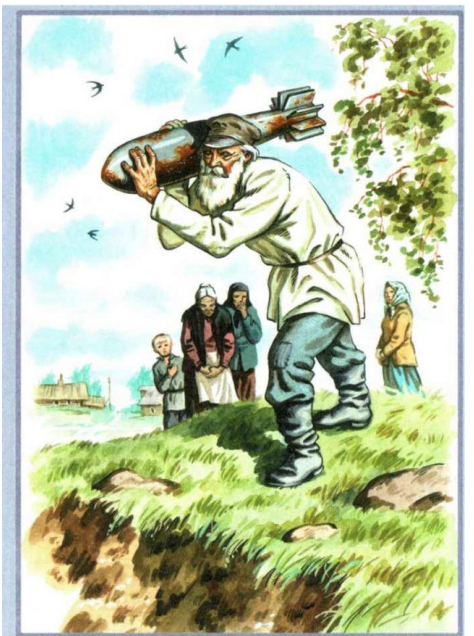
Солдат уже подремал в избе, перебил сон на время и теперь не мог уснуть сразу. Глядел в небо, в ясные звезды, чистые, словно слезы.

Сенька тоже не спал. Смотрел на теплый багрянец в небе, который будто стекал с холмов в озеро и остывал в его темной воде. Пришла ему в голову мысль, что дед и по сей день живет, только переселился на другое, более удобное для себя место, на высокий холм, откуда ему шире глядеть на свою землю.

Уснувший солдат бормотал во сне что-то любовное. С озера поднялся туман. Зыбкие тени шатались над лугом, сбивались в плотный табун. Мнилось Сеньке, что вокруг него пасется много коней — и гнедых, и буланых. И крепкие, статные кобылицы нежно ласкают своих жеребят.

— Дед, — сказал мальчишка, уже засыпая. — Дедка, у нас теперь кони есть…

И солдат шевельнулся от этих слов, положил на мальчишку свою тяжелую теплую руку.

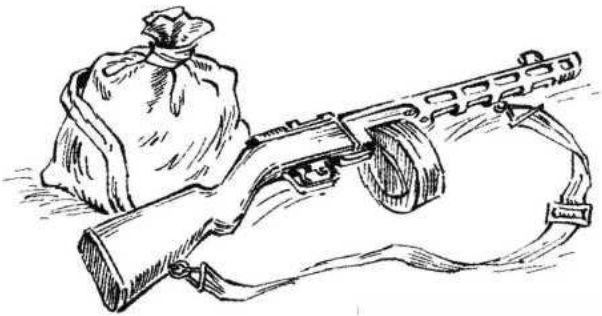




Р. Погодин
«Кони»

Анатолий Васильевич Митяев

Отпуск на четыре часа



Солдату чаще всего приходилось воевать вдали от дома.

Дом у него в горах на Кавказе, а он воюет в степях на Украине. Дом в степи, а он воюет в тундре, у холодного моря. Место, где воевать, никто сам себе не выбирал. Однако бывало, что солдат защищал или отбивал у врага свой родной город, свою родную деревню. В родных краях оказался и Василий Плотников. После того как закончился бой и фашисты отступили, солдат попросил у командира разрешение — сходить в деревню Яблонцы. Там его дом. Там остались жена с маленькой дочкой и старенькая мама. До Яблонцев

всего-то десяток километров.

— Хорошо, — сказал командир. — Даю вам, рядовой Плотников, отпуск на четыре часа. Возвращайтесь без опоздания. Сейчас одиннадцать, а в пятнадцать прибудут грузовики и повезут нас вдогонку за фашистами.

Товарищи Плотникова принесли свои продовольственные запасы — консервы, сухари, сахар. Все сложили ему в вещевой мешок. Пусть угостит семью. Дары не велики, но ведь от всего сердца! Они немного завидовали Плотникову. Шутка ли — два года не видел родных, ничего не знал о семье, а теперь — скорое свидание. Правда, солдаты думали и о том, что жена Плотникова, и маленькая дочка, и старенькая мама могли погибнуть в фашистской неволе. Но печальные думы вслух не высказывали.

А Василий Плотников сам об этом думал. И поэтому радость его была тревожная. Он сказал товарищам только одно слово: «Спасибо!», надел на плечи лямки вещевого мешка, на шею повесил автомат и зашагал прямиком через поле, через лесок к Яблонцам.

Деревня Яблонцы была небольшая, но уж очень красивая. Она часто снилась солдату Плотникову. Под высокими старыми ветлами, как под зеле-

ным шатром, в прохладной тени стояли крепкие дома — с резными крылечками, с чистыми скамеечками перед окнами. За домами были огороды. И все росло в этих огородах: желтая репа, красная морковь, тыквы, похожие на кожаные мячи, подсолнухи, похожие на латунные, начищенные до блеска тазы, в которых варят варенье. А за огородами стояли сады. Зрели в них яблоки — какие только пожелаешь! Сладко-кислые грушовки, сладкие, как мед, терентьевки и самые лучшие на всем свете антоновские яблоки. Осенью, когда замачивали антоновку в бочонках, когда укладывали в ящики для зимнего хранения, перестилая слои ржаной соломой, все в Яблонцах пахло яблоками. Ветер, пролетая над деревней, пропитывался этим запахом и разносил его далеко по округе. И люди — прохожие ли, проезжие, чей путь был в стороне от Яблонцев, — сворачивали с дороги, заходили, заезжали туда, наедались яблоками вдоволь, с собой захватывали. Щедрая была деревня, добрая. Как-то она теперь?

Василий Плотников торопился. Чем скорее дойдет до деревни, тем больше времени будет на свидание с родными. Все тропки, все дорожки, все овражки и бугорки были известны ему с детства. И вот через час с небольшим увидел он с высокого

места Яблонцы. Увидел. Остановился. Глядел.

Не было над Яблонцами зеленого шатра. Вместо него была растянута в небе черная изорванная паутина: листья на высоких ветлах сгорели, ветки тоже сгорели, а сучья обуглились, они-то и расчертили небо черной паутиной.

Сердце у солдата Василия Плотникова сжалось, заболело. Что было сил он побежал к деревне. Словно хотел чем-то помочь своим Яблонцам. А помочь ничем уже было нельзя. Стали Яблонцы пепелищем. Прокаленная земля была засыпана серой, как дорожная пыль, золой, усеяна головешками. Среди этого праха стояли закопченные печи с высокими трубами. Непривычно и жутко было видеть кирпичные трубы такой высоты. Прежде-то их закрывали крыши, и никто их такими не видел. Печи казались живыми существами, какими-то огромными птицами, тянувшими длинные шеи в пустое небо. Птицы хотели взлететь в страшную минуту, но не успели и остались, окаменевшие, на месте.

Дом Василия Плотникова до пожара стоял в середине деревни. Солдат легко отыскал и узнал свою печку. Сквозь копоть просвечивала побелка. Он сам белил печку перед тем, как уйти на войну. Тогда же сделал много другой работы

вокруг дома, чтобы жене, матери и дочке жилось полегче. «Где же они теперь? Что с ними стало?»

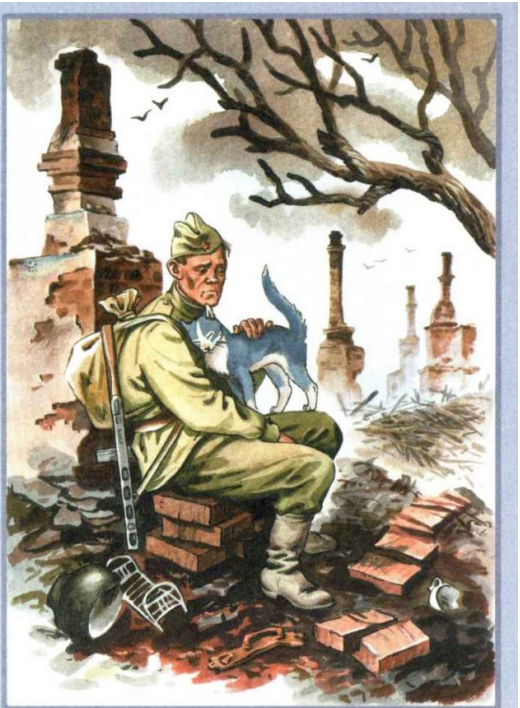
«Деревня погибла в огне, — рассуждал Василий Плотников. — Если бы ее бомбили или обстреливали, непременно какие-то печи развалились бы, трубы обрушились бы...» И появилась у него надежда, что жители Яблонцев спаслись, ушли до пожара куда-нибудь в леса.

Он ходил по пепелищу, отыскивал железные остатки дома — дверные ручки, крючки, большие гвозди. Находил все это, покрытое бурой окалиной, брал в руки, разглядывал — как бы спрашивал о судьбе хозяев. Ответа не было.

Плотников представил себе, как нагрянула в Яблонцы команда фашистов, особая команда. Они выскочили из грузовиков с канистрами бензина. Обливали бензином стены. А потом шел фашист-факельщик. И поджигал дома — один за другим. С начала и до конца поджег всю деревню. И в это же время, а может, чуть раньше или чуть позже вражеский танк проехал по садам, ломая яблони, вминая их в землю... Тысячи деревень уничтожили фашисты подобным образом при отступлении.

Солдат собрал грудкой кирпичи, сдул с них золу, сел. И так, сидя, не сняв вещевой мешок и

автомат, думал горькую думу. Он не сразу почувствовал, что кто-то прикасается к голенищу сапога. Вернее, легкие толчки он чувствовал, но не обращал внимания, ведь вокруг ни живой души. А когда посмотрел на сапоги, увидел кошку — серую с белой грудкой, свою кошку Дунюшку.



А. Митяев
«Отпуск на четыре часа»

— Дунюшка! Ты откуда тут, Дунюшка?

Он взял ее под живот растопыренной пятерней, посадил на колени и стал гладить.

Дунюшка прижалась поплотнее к хозяину, закрыла глаза, замурлыкала. Мурлыкала тихо, спокойно. Неторопливо повторяла на вдохе и выдохе однообразные звуки, словно горошинки перекатывала. И показалось Плотникову, что кошка знает, как трудно на войне людям, как тяжело у него на сердце. Знает она и о том, где жена солдата, дочка и мать. Они живы, укрылись в лесу от фашистов, а главная их печаль — не о сгоревшем доме, а о нем. Жив ли он, солдат Василий Плотников? Если жив, то и они проживут. Вот увидят, что нет фашистов, что Советская Армия прогнала их, и придут из леса в деревню. Выкопают на зиму землянку. Будут терпеливо ждать конца войны, возвращения солдат. Солдаты вернутся, построят все новое. И сады посадят…

— Где же ты была, Дунюшка, когда Яблонцы горели? И как же сильно любишь ты свой дом, если не уходишь от него, сгоревшего?

Кошка слушала человеческий голос и все вела свою песенку — не громче, не тише, не быстрее, не медленнее, словно уговаривала солдата не печалиться без меры.

…Время шло. Пора было возвращаться в часть. Солдат покрошил кошке в обломок глиняной миски хлебушка. Вещевой мешок с продуктами положил в печку и закрыл заслонкой. Потом горелым гвоздем выцарапал на печке:

«Я живой. Дома вас не застал. Пишите.
Полевая почта 35769. В. Плотников».

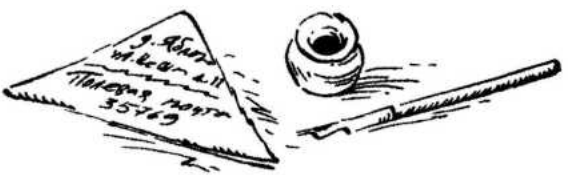
Кошка доела хлеб. Подобрала еду до последней крошечки. Сидя у глиняного черепка, принялась умываться — лизала лапку розовым языком, лапкой терла мордочку. «Хорошая примета, — подумал солдат. — Это — к гостям. Кошка гостей замывает. А кто гости? Конечно, жена, дочка и мама — хозяйки сгоревшего дома». От такой мысли стало солдату полегче. И пришли другие мысли: как сядет он с товарищами в грузовик, как нагонят фашистов и начнут новый бой. Будет он стрелять из автомата, бросать гранаты, а если кончатся боеприпасы, убьет фашиста простым кулаком…

— Ну, прощай, Дунюшка! Мне пора. Как бы без меня не уехали.

Кошка посмотрела в глаза хозяину. Встала. И когда он зашагал по пепелищу, побежала рядом. Бежала довольно долго. Остановилась за обго-

ревшими ветлами, на зеленом бугорке. Оттуда провожала солдата взглядом. Солдат оборачивался, каждый раз видел на зеленом бугорке серый комочек с белым пятнышком.

...Войска, в которых был батальон Василия Плотникова, наступали очень хорошо, гнали и гнали фашистов. Письмо из дома он получил, когда от Яблонцев ушли на целые полтысячи километров.



Мешок овсянки



В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, дороги раскисли. На проселках, увязнув по самые оси в грязи, стояли военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. В солдатской кухне повар каждый день варил только суп из сухарей: в горячую воду сыпал сухарные крошки и заправлял солью.

В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашел мешок овсянки. Он не искал ничего, просто привалился плечом к стенке траншеи. Глыба сырого песка обвалилась, и все увидели в ямке край зеленого вещевого мешка.

— Ну и находка! — обрадовались солдаты. — Будет пир горой… Кашу сварим!

Один побежал с ведром за водой, другие стали

искать дрова, а третьи уже приготовили ложки.

Но когда удалось раздуть огонь и он уже бился в дно ведра, в траншею спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий. Брови над голубыми глазами тоже рыжие. Шинель выношенная, короткая. На ногах обмотки и растоптанные башмаки.

— Эй, братва! — крикнул он сиплым, простуженным голосом. — Давай мешок сюда! Не клали — не берите.

Он всех просто огорошил своим появлением, и мешок ему отдали сразу.

Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые мешки прятали в траншеях солдаты, когда шли в атаку. Чтобы легче было. Конечно, оставались мешки и без хозяина: или нельзя было вернуться за ними (это если атака удавалась и надо было гнать фашистов), или погибал солдат. Но раз хозяин пришел, разговор короткий — отдать.

Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный мешок. Только Лукашук не выдержал, съязвил:

— Вон он какой тощий! Это ему дополнительный паек дали. Пусть лопает. Если не разорвется, может, потолстеет.

Наступили холода. Выпал снег. Земля смерзлась, стала твердой. Подвоз наладился. Повар варил в кухне на колесах щи с мясом, гороховый суп с ветчиной. О рыжем солдате и его овсянке все забыли.

Готовилось большое наступление.

По скрытым лесным дорогам, по оврагам шли длинные вереницы пехотных батальонов. Тягачи по ночам тащили к передовой пушки, двигались танки.

Готовился к наступлению и Лукашук с товарищами. Было еще темно, когда пушки открыли стрельбу. Посветлело — в небе загудели самолеты.

Они бросали бомбы на фашистские блиндажи, стреляли из пулеметов по вражеским траншеям.

Самолеты улетели. Тогда загромыхали танки. За ними бросились в атаку пехотинцы. Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он кинул гранату в немецкую траншею, хотел кинуть еще, но не успел: пуля попала ему в грудь. И он упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что снег холодный. Прошло какое-то время, и он перестал слышать грохот боя. Потом свет перестал видеть, — ему казалось, что наступила темная тихая ночь.

Когда Лукашук пришел в сознание, он увидел санитара. Санитар перевязал рану, положил Лукашука в лодочку — такие фанерные саночки. Саночки заскользили, заколыхались по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука стала кружиться голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась, — он хотел вспомнить, где видел этого санитара, рыжего и худого, в выношенной шинели.

— Держись, браток! Не робей — жить будешь!.. — слышал он слова санитара.

Чудилось Лукашуку, что он давно знает этот голос. Но где и когда слышал его раньше, вспомнить уже не мог.

В сознание Лукашук снова пришел, когда его перекладывали из лодочки на носилки, чтобы отнести в большую палатку под соснами: тут, в лесу, военный доктор вытаскивал у раненых пули и осколки.

Лежа на носилках, Лукашук увидел саночки-лодку, на которых его везли до госпиталя. К саночкам ременными постромками были привязаны три собаки. Они лежали в снегу. На шерсти намерзли сосульки. Морды обросли инеем, глаза у собак были полузакрыты.

К собакам подошел санитар. В руках у него была

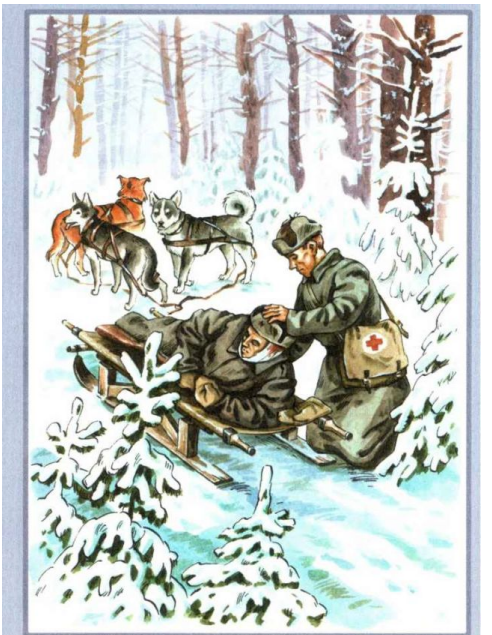
каска, полная овсяной болтушки. От нее валил пар. Санитар воткнул каску в снег постудить — собакам вредно горячее. Санитар был худой и рыжий. И тут Лукашук вспомнил, где видел его. Это же он тогда спрыгнул в траншею и забрал у них мешок овсянки.

Лукашук одними губами улыбнулся санитару и, кашляя и задыхаясь, проговорил:

— А ты, Рыжий, так и не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а все худой.

Санитар тоже улыбнулся и, погладив ближнюю собаку, ответил:

— Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. Как увидал в снегу, так и узнал… — И добавил убежденно: — Жить будешь! Не робей!





А. Митяев
«Мешок овсянки»

Валентина Александровна Осеева
Кочерыжка



Люди возвращались. На маленькой голубой станции, уцелевшей от бомбежек, беспорядочно и суетливо выгружались из вагонов женщины и дети с узлами и авоськами. По обеим сторонам дороги заколоченные домики, глубоко зарывшись в сугробы, ждали своих хозяев. То там то сям вспыхивали в окнах светлячки коптилок, из труб поднимался дым. Дольше всех пустовал домик Марьи Власьевны Самохиной. Забор ее повалился, и только кое-где стояли еще крепко сбитые колья. Над калиткой торчала вверх и билась на

ветру сломанная доска. В морозные зимние ночи, проваливаясь в снег, к запушенному крыльцу брел голодный пес, похожий на затравленного волка. Он обходил дом, прислушиваясь к тишине, царившей за большими окнами, тянул носом воздух и, бессильно волоча длинный хвост, укладывался на снежном крыльце. А когда луна бросала на пустой дом светлые желтые круги, пес поднимал морду и выл.

Вой будоражил соседей. Измученные, настрадавшиеся люди, зарываясь головой в подушки, грозились заткнуть эту голодную глотку дубиной. Может быть, и нашелся бы человек, решившийся поднять дубину на поджарое собачье тело, но пес, как бы зная это, остерегался людей, и утром на снегу оставались только следы, тянувшиеся неровной цепочкой вокруг брошенного дома. И лишь один маленький человечек из домика напротив каждый вечер за старым обвалившимся погребом ожидал голодного пса. В растоптанных валенках и старой серой шинельке он тихонько вылезал на крыльцо и смотрел, как в сумерках белеет снег. Потом, прижимаясь к стене, круто заворачивал за угол дома и шел к погребу. Там, присев на корточки, он делал в снегу плотную ямку, выкладывал из кармана корочки хлеба и

тихонько отступал за угол. А за погребом, медленно переставляя лапы и не сводя с ямки голодных волчьих глаз, появлялась поджарая собака. Ветер качал ее костлявое тело, когда она жадно глотала то, что принес маленький человечек. Окончив еду, пес поднимал голову и в упор смотрел на мальчика, а мальчик смотрел на пса. Потом оба расходились в разные стороны: собака в снежные сумерки, а мальчик в теплый дом.

* * *

Судьба маленького человечка была судьбой многих детей, застигнутых войной и обездоленных фашистскими варварами. Где-то на Украине золотой осенью в обуглившемся селе, только что отбитом у фашистов, безусый сержант Вася Воронов нашел на огороде завернутого в теплые тряпки двухлетнего мальчишку. Рядом на вспаханной огородной земле, среди обрубленных кочанов капусты, в белой сорочке, вышитой красными цветами, лежала, раскинув руки, молодая женщина. Голова ее была повернута набок, голубые глаза застыли в пристальном созерцании высокой горки срезанных капустных листов, а пальцы одной руки крепко сжимали бутылку с молоком. Из горлышка, заткнутого бумагой,

медленно стекали на землю крупные молочные капли… Если б не эта бутылка с молоком, может быть, пробежал бы Вася Воронов мимо убитой женщины, догоняя своих товарищей. Но тут, горестно поникнув головой, осторожно вынул он из рук мертвой бутылку, проследил ее застывший взгляд, услышал за капустными листьями слабое кряхтенье и увидел широко открытые детские глаза. Неумелыми руками вытащил безусый сержант закутанного в одеяльце ребенка, сунул в карман бутылку с молоком и, наклонившись над мертвой женщиной, сказал:

— Беру… Слышь? Василий Воронов! — и побежал догонять товарищей.

На привале бойцы поили мальчика теплым молоком, любовно оглядывали его крепенькое тельце и шутя называли Кочерыжкой.

Кочерыжка был тихий; свесив голову на плечо Васи Воронова, он молча глядел назад, на ту дорогу, по которой его нес Вася. А если мальчик начинал плакать, товарищи Воронова с пыльными и потными от зноя лицами приплясывали перед ним, тяжело потряхивая амуницией и хлопая себя по коленкам:

— Ай да мы! Ай да мы!

Кочерыжка замолкал, пристально вглядываясь

в каждое лицо, как будто хотел запомнить его на всю жизнь.

— Изучает чегой-то! — шутили бойцы и дразнили Васю Воронова. — Эй, отец, докладай, что ли, по начальству насчет новорожденного!

— Боюсь, отымут, — хмурился Вася, прижимая к себе мальчонку. И упрямо добавлял: — Не дам. Никому не дам. Так и матери его сказал — не брошу!

— Одурел, парень! С ребенком, что ли, в бой пойдешь? Или в няньки теперь попросишься? — урезонивали Васю бойцы.

— Домой отошлю. К бабке, к матери. Закажу, чтоб берегли тама.

Твердо решив судьбу Кочерыжки, Вася Воронов добился своего. Поговорив по душам с начальством и передав своего питомца с рук на руки медицинской сестре, Вася написал домой длинное письмо. В письме было подробно описано все происшедшее, и кончалось оно просьбой: держать Кочерыжку, как своего, беречь, как родное дите сына Василия, и не называть его больше Кочерыжкой, потому как мальчик крещен в теплой речной купели самим Вороновым и его товарищами, давшими ему имя и отчество: Владимир Васильевич.

Молоденькая сестричка привезла Владимира Васильевича в семью Вороновых зимой сорок первого года, когда сами Вороновы, заколотив свой домик, бежали с вещами и авоськами к голубой станции. На ходу, второпях прочитали Анна Дмитриевна и бабка Петровна письмо Васеньки, со вздохами и слезами приняли от сестрички сверток в сером солдатском одеяле и, нагруженные вещами, полезли с ним в дачный вагон, а потом в теплушку… А когда вернулись на старое жилье и открыли свой отсыревший домик, война уже отодвинулась, письма Васеньки шли с немецких земель, а Кочерыжка уже бегал по комнате и сидел на скамейке, пристально изучая новые углы и новые лица своими зеленовато-голубыми глазами под темными шнурками бровей. Мать Васеньки, Анна Дмитриевна, осторожно поглядывая в сторону мальчика, писала сыну:

«Завет чести твоей и совести, дорогой наш боец Васенька, мы сохраняем. Кочерыжку твоего, то есть Владимира Васильевича, не обижаем, только достатки наши невелики — особенно содержать его не можем. По приказу твоему мальчику о тебе поминаем, как что между вами

произошло, и бутылочку тую держим на память. Еще разъясни ты нам, Васенька, как ему нас звать прикажешь, а все „тетенька“ да „тетенька“ я ему, бабку зовет Петровной, а сестренку твою Граню Ганей кличет».

Вася Воронов, получив письмо, слал ответ:

«За хлопоты ваши великое спасибо. В остальном разберусь, как домой приеду. Одна просьба: Кочерыжкой не звать, потому как это звание походное, данное случаем по обстоятельству местонахождения в капусте. А он должен быть как человек, Владимир Васильевич, и сознавать то, что я ему отец».

Кочерыжке своему Вася Воронов, подумав, всегда писал одно и то же: «Расти и слушайся». Пока что больших задач воспитания приемного сына он на себя не брал. Кочерыжка рос плохо, а слушался хорошо. Слушался молча, медленно, понятливо и серьезно.

— Батюшки, да что ты как спеленатый на лавке сидишь? Пойди хоть побегай маленько! — замечая его, на ходу кричала тетенька Анна

Дмитриевна.

— А где побегать? — сползая с лавки, спрашивал Кочерыжка.

— Да в садике, батюшки мои!

Кочерыжка выходил на крыльцо и, как будто стесняясь, с неуверенной улыбкой смотрел на тетеньку, потом, опустив руки, неловко перебирая ногами, бежал к калитке. Оттуда медленно возвращался и снова садился на лавку или на крыльцо. Петровна качала головой:

— Притомился, Кочерыжка, то бишь Володечка?

Мальчик поднимал тонкие брови и односложно отвечал:

— Не.

Граня бегала в школу. Иногда у крыльца, как стайка веселых птиц, собирались ее подружки. Граня вытаскивала Кочерыжку, сажала его к себе на колени, дула на его большой лоб с пушистыми темными завитками и, скрестив на его животе крепкие, загорелые руки, говорила:

— Это наш, девочки! Мы его в капусте нашли! Не верите? Он сам знает. Правда, Кочерыжка?

— Правда, — подтверждал мальчик, — меня в капусте нашли!

— Бедненький! — ахали девочки, поглаживая

его по головке.

— Я не бедненький, — отводя их руки, говорил Кочерыжка. — У меня отец есть. Вася Воронов — вот кто!

Девочки начинали возиться с ним, но Кочерыжка не любил шумных игр. Однажды Петровна дала ему немного земли из старого цветочного горшка, и в самом углу широкой скамьи Кочерыжка устроил себе огород. На огороде он сделал аккуратные грядочки. Граня дала мальчику красной глянцевитой бумаги и зеленой папиросной. Кочерыжка вырезал круглые красные ягодки, разложил их на грядках, а рядом воткнул зеленые кустики из папиросной бумаги. Потом принес из сада ветку и повесил на нее бумажные яблочки, раскрашенные с помощью Грани. В игре принимала участие и Петровна — она тайком подкладывала в огород свежую морковку и громко удивлялась:

— Гляди-ка, морковь у тебя поспела!

Анна Дмитриевна называла Петровну потатчицей, но сама как-то привезла два игрушечных ведерка и совочек для «огорода». Кочерыжка любил землю; он брал ее на ладонь, прижимался к ней щекой и, когда скупое зимнее солнце падало из окна, серьезно говорил:

— Не загораживайте солнце-то, ведь расти ничего не будет!

— Агроном!.. — с гордостью говорила о нем Петровна.



В. Осеева
«Кочерыжка»

* * *

Жизнь в то время была трудная. У Вороновых не хватало хлеба, картошки своей не было. Анна Дмитриевна работала в столовой. Она приносила в бидончике остатки супа. Граня с размаху залезала в бидон ложкой и вылавливала гущу. За столом мать бранила ее:

— В такое-то время, когда весь народ от войны еще не оправился, она только о себе думает! Выловит гущу, а мать и бабушка как хотите! Да Кочерыжка еще на руках у нас!

Громкий голос и сердитые слова пугали Кочерыжку.

— Я не буду! — испуганно говорил он, сползая со стула. — Я не буду кушать!

— Сядь!.. Что за «не буду» такое? — в раздражении кричала на него Анна Дмитриевна.

Кочерыжка низко наклонял голову и начинал капать крупными слезами. Петровна схватывалась со своего места и, вытирая ему глаза передником, ругала дочь и внучку:

— Вы что ребенку нервы треплете? Чужое дите за столом, а они при нем куски считают! Взяли за своего, так и держите по совести!

— Да что ж я ему сказала-то? — ахала Анна

Дмитриевна. — Не на него кричу, а на дочь родную! Я его и пальцем не трону! Мне с ним не жить… Пусть кто взял, тот и воспитывает!

— А мне, что ли, с ним жить? Мне и вовсе он не нужен на старости, а раз взяли, так надо сердце иметь! Вишь, он ото всего нервный какой!

— Ну, нервный! Представленный, и все тут! — кричала сквозь слезы Гранька, получившая от матери подзатыльник. — Все, все брату напишу! Пускай забирает его совсем! Не надо нам!

— А кто ж со мной жить будет? — вдруг спрашивал Кочерыжка, обводя всех тревожными заплаканными глазами.

Петровна спохватывалась:

— Усе, усе будем, сынок! Не плачь только! Советская власть сироту не бросит! А отец-то! Отец-то на што? Вон он глядит… Вон он… — Она снимала с полки фотографию Васи и, обтерев ее ладонью, подавала мальчику. — И-и, какой отец… С ружьем!

Кочерыжка сквозь слезы улыбался доброму скуластому лицу Васи, а Петровна, расчувствовавшись, крепко прижимала к себе мальчика:

— Разве он бросит?! Как повидал он это горюшко… Лежит она, голубка сердечная, а молочко-то из бутылочки кап-кап… — Она вдруг прерывала

себя и, подперев рукой щеку, начинала раскачиваться из стороны в сторону. — Ах ты Боже ж мой, Боже ж мой… Несла своему сыночку, голубушка…

Анна Дмитриевна, прислушиваясь к ее словам, останавливалась посреди комнаты; Граня сидела тихо, поглядывая круглыми глазами то на мать, то на бабку.

— И сказал он ей, мертвенькой…

Кочерыжка закрывал глаза и, борясь с дремотой, крепче прижимал к себе карточку.

— …нипочем я сыночка твоего не брошу… — доносился до него затихающий голос Петровны, смешанный со слезами и вздохами. — Ах ты Боже ж мой, Боже ж мой…

— Гляди, карточку всю изомнет! — вдруг кричала Гранька. — Заснул ведь! Дай-ка я возьму у него!

Петровна загораживала от нее Кочерыжку:

— Не тронь, не тронь, Гранечка! Я сама опосля возьму!

Анна Дмитриевна, как бы очнувшись, бежала к постели, взбивала подушечку и принимала из рук Петровны спящего мальчика. Гранька вертелась тут же, чтобы вытащить из горячих сонных рук Кочерыжки Васину карточку, но мать молча

отводила ее руку и, глядя в курносое безмятежное лицо девочки, думала: «Чего в ней не хватает — сердца или разума?»

* * *

По ночам выла собака. Кочерыжка знал, что она воет от голода, от тоски по хозяевам и за это ее хотят убить. Кочерыжка хотел, чтобы собака перестала выть и чтобы ее не убивали. Поэтому однажды, увидев за своим погребом следы собачьих лап, он стал относить туда остатки еды. Собака и мальчик боялись друг друга. Пока Кочерыжка складывал свои сокровища в ямку, собака стояла в отдалении и ждала. Он не хотел погладить ее сбившуюся шерсть на тощих ребрах — она не хотела вильнуть ему хвостом. Но часто они смотрели друг на друга.

И тогда между ними происходил короткий разговор.

«Все?» — спрашивали собачьи глаза.

«Все», — отвечали ей глаза Кочерыжки.

И собака уходила, чтобы в сумерки следующего дня заставить его тревожно ждать за погребом, прислушиваясь к каждому голосу из дома. За столом Кочерыжка, глядя испуганными глазами на все лица, прятал за пазуху хлеб.

* * *

Однажды ночью он проснулся от собачьего голоса. Но это не был вой. Это был короткий визг. Кочерыжка прислушался. Визг не повторился. Мальчик понял: что-то случилось. Он сполз с кровати и, всхлипывая, пошел к двери. Петровна в одной юбке, сонная и растрепанная, схватила его на руки:

— Куда ты? Куда, батюшка мой?

Кочерыжка громко заплакал.

— Молчи, молчи, сынок… Усех в доме перебудишь…

Но мальчик вырывался из ее рук и, захлебываясь слезами, указывал на дверь:

— Туда, туда…

— Да куда же мы пойдем с тобой? Ведь на дворе тьма-тьмущая… Там усе волки сейчас бегают… Гляди-ко!

Петровна подняла Кочерыжку к окну и отдернула занавеску. На дворе стояла оттепель; сквозь мокрое стекло было видно, как из освещенного окна пустого дома на крыльцо падала желтая тень. Кочерыжка вдруг затих, а Петровна, зевая, сказала:

— Никак, Самохины приехали?

* * *

В эту ночь от станции, глубоко проваливаясь в снег тяжелыми бутсами, шла женщина. Рваное мужское пальто, подвязанное веревкой, мокрыми полами обхватывало ее колени, черный платок съехал на плечи, седые пряди волос прилипли к щекам. Женщина часто останавливалась и прислушивалась к собачьему вою. В калитке оторванная доска задела ее за плечо, а с крыльца поднялся одичалый пес и, прижимая к затылку уши, двинулся ей навстречу. Женщина протянула к нему руки, чуть слышно пошевелила губами. Пес с коротким визгом упал на снег и пополз к ней на брюхе… Женщина обняла его за шею и достала из кармана ключ. Потом поднялась на ступеньки, открыла дверь, зажгла огарок свечи, и от освещенного окна упала желтая тень, которую увидел Кочерыжка.

* * *

Собака не приходила. Два дня ждал ее Кочерыжка, глядя на огонек, светившийся через дорогу. Теперь оттуда часто доносился хриплый, сердитый лай. Слышно было, как пес кидался к

забору и до конца улицы провожал идущих мимо отрывистым лаем. Он сторожил свой дом. Ночью никто уже не слышал его жалобного воя и не грозил заткнуть ему глотку дубиной. Из разговоров соседей Кочерыжка знал, что в домик Самохиных вернулась одна старуха — Марья Власьевна… Бабка Маркевна, никуда не уезжавшая во время войны, считала себя хозяйкой опустевшего поселка с заколоченными домиками. Ей казалось, что именно она, оставаясь здесь, под немецкими бомбами, уберегла от разрушения весь поселок. И как хозяйка встречала она всех возвращающихся, приветливо и жалостно, не скупясь ни на сочувствие, ни на вязанку дров для захолодавших людей. Первая являлась она к семьям, еще не обогревшим пустые углы, и, прислонившись к косяку двери, зябко кутаясь в клетчатую шаль, говорила:

— Ну вот, слава те Господи! Вернулись! На родном пороге не обобьешь ноги!

И тут же зорко примечала она чьи-то заплаканные глаза, горестно покачивала головой, кляла душегубов-фашистов, вытирала концом платка слезы и утешала:

— Что делать, милушка, война… Уж теперь не вернешь и сама в могилку не полезешь. Скрепи

сердце, как ни есть… Небось не одна поплачешь, люди с тобой поплачут и над твоим и над своим горем… Все вместе, легче будет…

Серенькое, востренькое лицо ее, теплые руки с темными жилками, слезы и сочувствие успокаивали. Не одна осиротевшая женщина выплакала свое горе вместе с Маркевной. Поплакав, бабка Маркевна деловито распоряжалась:

— Печку-то спробуй — не дымит ли? Да пойдем ко мне: дровишек сухоньких дам или кипяточку отолью.

Бабка Маркевна жила одна, но с утра до вечера у нее толокся народ — женщины, ребятишки. Каждому что-то было нужно. Иногда на широкой лавке под печкой сидел у бабки чей-нибудь закутанный ребенок, и бабка, придя со двора, говорила:

— Ишь Бог послал… Чей же это? Сафроновых али Журкиных? — И сама себе отвечала: — Небось Журкиных… Она нынче к снохе в город уехала…

Погремев в печи заслонкой, Маркевна вытаскивала горячую картофелину, дула на нее, перебрасывая с ладони на ладонь, и подносила ребенку:

— На-кось… Погрей ручки да скушай!

Теперь бабка Маркевна часто сидела у Петров-

ны и, указывая на домик Самохиной, с обидой говорила:

— Я к ней, а она от меня… я во двор, а она в дом… Вижу, лица на ней нет.

— Да-да, — подтверждала Петровна, — чуждается она людей… а бывало, как работала библиотекаршей на заводе, от одних ребят отбою не было, сама всех привечала.

Маркевна освобождала от шали востренький подбородок и шумно сморкалась.

— Всхожу это я в сени, а у самой сердце не на месте… И ее жалко, и навязываться тошно… Только думаю себе: горе-то что петля на шее, если некому растянуть ее, она всего человека захлестнет. — Маркевна оглянулась на Кочерыжку и вдруг зашептала: — Ведь одна-одинехонька вернулась. Игде невестка, игде внучка ейная. Все небось в земле сырой похоронено. Как не бывало да не было. И сама-то вся рваная, пальтишко худенькое…

— О-хо-хо… — подперев щеку рукой, вздыхала Петровна. — Ведь полным домком жил человек! Да где же это она всех растеряла-то?

Но Маркевна уже снова перешла от сочувствия к обиде:

— Да разве в ней человецкая душа осталась?

«Голубушка, — говорю, — милая ты моя, одна, что ли, в свой домик возвернулась?» А она это как глянет на меня, руками за стол схватилась да как крикнет: «Не спрашивай!» Батюшки мои! Ровно я ей в сердце иголку всадила… — Маркевна закрылась платком и заплакала.

Петровна мельком взглянула на Кочерыжку. Лицо у него было серое, губы дрожали, в глазах стоял испуг.

— Уйди ты отсюда! Что за ребенок такой?! — рассерженно крикнула Петровна и, схватив Кочерыжку за руку, вытащила его в кухню. — Ступай оденься, погуляй хоть с ребятами! — Она бросила ему шинельку и платок. — Ступай, ступай! Вот всегда эдак-то: прилипнет к лавке и сидит, на нервы действует, — объясняла она бабке Маркевне, возвращаясь в комнату.

Кочерыжка нерешительно потоптался в кухне, взял с плиты печеную картофелину, надел шинельку, вышел на двор и побрел на собачий лай. Ему хотелось взглянуть на собаку, которая уже два дня не приходила к погребу. Но ему было страшно, что на крыльце Самохиных вдруг появится та женщина и закричит на него, как на бабку Маркевну. Во дворе никого не было. Не отрывая глаз от закрытой двери, Кочерыжка

долго стоял у забора, потом храбро направился к калитке.

Марья Власьевна сидела одна у холодной печки. Около нее валялась сломанная табуретка и секач. Скрип двери, серая шинелька и протянутая ладошка с печеной картофелиной испугали ее. Она откинула со лба седые волосы и, зажмурившись, сказала:

— Боже мой, что это?

— Собаке… — дрожащим голосом прошептал Кочерыжка, не сводя с нее глаз.

Марья Власьевна глубоко вздохнула:

— Волчок!

Со двора вбежала собака, шумно обнюхала мальчика и, виляя хвостом, остановилась рядом с ним. Марья Власьевна молча смотрела, как Кочерыжка кормил собаку. Потом она заглянула в печь и чиркнула спичкой. Спичка погасла. Она снова чиркнула. Кочерыжка подобрал с полу тоненькие щепочки и положил их перед ней. Потом обнял за шею собаку и удивленно сказал:

— Я ее не боюсь.

В печке затрещали сухие доски. Мальчик осторожно присел на корточки и протянул к огоньку красные руки.

— Чей ты? — тихо, с напряженным вниманием

вглядываясь в его лицо, спросила Марья Власьевна.

— Васи Воронова. Я Кочерыжка, — робко сказал он и, заметив на ее губах слабую улыбку, стал рассказывать свою историю.

Он делал это совсем так, как Петровна, подперев рукой щеку и раскачиваясь из стороны в сторону. Марья Власьевна слушала его с удивлением и жалостью. Прощаясь, Кочерыжка сказал:

— Я к тебе и завтра приду.

По дороге его переняла Граня. Размахивая концами платка, она сердито потащила его к дому:

— Ходит не знай где! Весь в снегу извалялся! Настоящий Кочерыжка!

От усталости, сердитого голоса Грани и всего пережитого за этот день Кочерыжка сел на снег и заплакал.

* * *

Самохина сторонилась соседей. Она часами сидела одна, опустив на колени руки. Ее память с болезненной точностью рисовала ей то одно, то другое… Разбросанные в беспорядке вещи напоминали ей сборы в дорогу и залитое слезами лицо ее невестки Маши. Слезы свои Маша объясняла по-разному, невпопад: то нежеланием расстаться

с насиженным углом, то боязнью перед незнакомой дорогой. Марья Власьевна не знала тогда, что Маша скрывает от нее смерть сына, что она одна переживает свое тяжелое горе, щадя старуху мать. Марья Власьевна вспоминает, как она сердилась на нее за эти слезы, как в последнюю ночь сборов, выйдя из терпения, она сурово прикрикнула на невестку: «Перестань! Возьми себя в руки! Стыдно! Люди близких теряют…»

Мысли Марьи Власьевны перескакивают. Она видит длинный эшелон, набитый женщинами и детьми. Она сидит между своими и чужими узлами, затиснутая в угол теплушки; потная головенка внучки, прикрытая ее широкой ладонью, прижимается к груди. В полумраке большие заплаканные глаза Маши. А потом бомбежка и глухой полустанок, где она, Марья Власьевна, металась между разбитыми вагонами, не выпуская из рук круглого синего чайника и бессмысленно объясняя кому-то с остановившимися от ужаса глазами: «За горяченьким пошла… за горяченьким…»

А из-под обломков люди вытаскивали что-то страшное, бесформенное, в чем уже нельзя было узнать ни внучки, ни Маши. Кто-то отнимал у нее залитый кровью капор, кто-то совал ей в руки

узелок и вел ее за носилками, покрытыми серым брезентом… Затерянная на этом полустанке, одна среди чужих людей, она случайно развязала Машин узелок и там нашла карточку сына вместе с его письмами к жене. Рядом с карточкой лежала серая бумажка, где сообщалось о славной смерти честного бойца Андрея Самохина… Лицо сына было радостное и удивленное, как будто он сам не верил в это сообщение о его смерти. Марья Власьевна стискивала руки, обводила глазами пустые углы и шептала без слез:

— Деточки мои… деточки…

Волчок клал ей на колени свою острую морду и, шумно вздыхая, лизал старые, сморщенные руки.

* * *

Теперь, когда Кочерыжка прятал в карман хлеб, Петровна бросала на Анну Дмитриевну многозначительный взгляд, и та сама клала перед мальчиком горку печеного картофеля:

— Кушай, кушай, сынок! А то на потом себе спрячь!

Кочерыжка брал в руки картошку и обводил всех недоверчивым, вопросительным взглядом. Но все смотрели в свои тарелки, а то нарочно

выходили в кухню, и, глядя, как торопливо натягивает Кочерыжка свою шинельку, Петровна таинственно шептала:

— Собралси…

А Анна Дмитриевна тяжело вздыхала:

— Что ему там нужно?

Если б не Маркевна, в семье Вороновых давно запретили бы Кочерыжке ходить к необщительной соседке.

— В горе он сам родился, да еще на ее горе глаза таращит. Эдак вовсе ребенка испортить можно, — беспокоилась Петровна.

— А не пусти — плакать будет, — огорчалась Анна Дмитриевна.

Гранька надувала розовые губы:

— Сами позволяете… Вася приедет — всем попадет… Не она его нашла, и ладно!

Но Маркевна была другого мнения.

— Как можно не пускать? — строго говорила она. — Грех в нем сердечко сдерживать. Кто чужие слезы утрет, тот меньше своих прольет… Не всякое горе к себе близко подпускает, а ребенок — он как лучик тепленький… Ведь вот я-то, старая, разбередила ей душеньку…

История Самохиной, приукрашенная и неправдоподобная, ходила по всему поселку, о ней

говорили в заводском кооперативе, где люди получали картошку.

Правдой во всем этом было только то, что осталась женщина одна-одинешенька. Но не это мучило Маркевну, когда вспоминала она Самохину. Мучила ее мертвая душа в живом человеке, и, не в силах оживить ее сама, она надеялась на Кочерыжку.

Уходя, Маркевна вынимала из-под платка свежевыпеченный хлебец и совала его Петровне:

— Дай мальчику-то… пущай снесет… от себя вроде.

Кочерыжка не понимал маленьких хитростей взрослых, он и вправду носил от себя. Войдя к Марье Власьевне, он просто выкладывал на стол все, что принес, выбирая куски для собаки. Один раз Самохина сурово сказала:

— Не носи больше. — Но, заметив в его глазах испуг, спросила: — Кто тебя посылает?

— Сам иду, — всхлипнул Кочерыжка.

Марья Власьевна погладила его по голове:

— Не носи больше, слышишь? Так приходи…

Вечером она собрала кое-что из белья, прилади-ла лампочку и села чинить. Потом затопила печь, нагрела воды, вымыла комнату, вытащила из сарая маленький стульчик и, подумав, поставила

его около печки.

* * *

Смеркалось, а Кочерыжки не было. Анна Дмитриевна не выдержала, надела шаль и пошла к дому Самохиной:

— Хоть погляжу своими глазами, как он там…

Но, дойдя до калитки, испуганная яростным лаем собаки, она повернула обратно и, придя домой, написала письмо сыну.

> «Дорогой мой Васенька!
>
> Исполняю свой материнский долг и спешу с тобой посоветоваться. Твой сынок Володенька мальчик тихий, беспокойства он нам не доставляет, только последнее время совсем мы с ним голову потеряли и ума не приложим, как нам быть…»

Анна Дмитриевна подробно описала возвращение соседки Самохиной, привязанность к ней мальчика и закончила словами:

> «…Сердце в нем мягкое, а характер настойчивый — весь в тебя».

Заклеив письмо, она позвала Граньку:

— Снеси на станцию. Да покличь Кочерыжку.

— Не пойду я за ним, — отказывалась Гранька.

В это время входная дверь стукнула, и вместе с морозным паром на пороге встали две фигуры. Женщина в черном платке и в мужском пальто, подвязанном веревкой, держала за руку Кочерыжку.

— У меня мальчик ваш был, — тихо сказала она и повернулась, чтобы уйти.

Но Анна Дмитриевна взволновалась:

— Он у вас, а вы у нас… посидите маленько.

Петровна живехонько столкнула с табуретки Граньку и вышла на кухню.

— Хоть чайку-то откушай с нами… Добрые соседи — вторая семья. — Сказав это, она вдруг испугалась и робко добавила: — Не обижай старуху, Власьевна!

— Спасибо. У меня там собака заперта, — со вздохом сказала Марья Власьевна.

Но Анна Дмитриевна увлекла ее в комнату и усадила на табуретку.

— Садись, садись рядышком, Володечка! Около тетеньки садись, — хлопотала она.

— С мороза-то чайку попейте, — угощала Петровна.

Самохина молча взяла чашку. Анна Дмитриевна подвинула ей кусок сахару.

— Кушай, кушай, голубочек! — шептала Кочерыжке Петровна, не зная, какой вести разговор.

Граня в упор рассматривала гостью. Гладкие седые волосы, глубокие морщины. Лицо усталое. Казалось, что у нее смертельно болит голова. Она с трудом поднимала на говорившего выцветшие серые глаза. Привечая гостью, Петровна тщательно подбирала слова и, боясь сказать чего не следует, беспомощно поглядывала на Анну Дмитриевну. Анна Дмитриевна дергала под столом Граньку, обращалась к Кочерыжке и, не слушая его ответов, говорила про погоду:

— Все снег да снег! И куда его столько навалило? На железной дороге девки только и гребут… только и гребут…

В разгар чаепития вошла Маркевна. Увидя за столом Самохину, она оробела, сунула всем руку дощечкой и сразу повела громкий разговор:

— Зима, зима! А весна-то уж вот она! На пригорке сидит, на солнышко поглядывает!

— Верно, верно! — почувствовав в ней поддержку, оживилась Петровна. — Зиму-то мы уже отстрадали! Теперь всяко растение к солнышку потянется, всякой душеньке на земле полегчает.

Маркевна строго глянула на нее.

— И подснежнички где-нигде покажутся, и цветочки по овражкам желтенькие… — с испуганным лицом затянула Петровна.

А гостья сидела молча, сжимая обеими руками кружку, как будто хотела согреть свои иззябшие руки. Глаза ее смотрели куда-то далеко, мимо этих людей, поивших ее чаем. А они, исчерпав все пустые слова, напуганные ее молчанием, сначала перешли на шепот, а потом и вовсе замолчали, растерянно и грустно поглядывая друг на друга. Один Кочерыжка сопел и беспокойно вертелся на лавке. Ему казалось, что все забыли про гостью, а она уже давно пьет горячую воду без сахара. Боясь, чтобы она так и не ушла, он припомнил самые лучшие, по его мнению, слова, которые говорила гостям Петровна, повернулся к Самохиной и, подвигая к ней сахар, громко сказал:

— Кушай, голубочек!

Самохина посмотрела на него и улыбнулась. Петровна ахнула, Гранька расхохоталась, а Маркевна торжествующе сказала:

— Угощай! Угощай! Ты хозяин! Проси еще чашечку испить!

Провожая Марью Власьевну, Анна Дмитриевна просила не забывать их.

— А уж мальчик коль не мешает, так нам только радостно… только радостно, — повторяла она, опасаясь про себя, что от Васи выйдет приказ не пускать к Самохиной Кочерыжку.

* * *

Теперь каждое утро после завтрака Кочерыжка начинал собираться.

— На работу, сынок? — шутливо спрашивала его Петровна, не подозревая, что после запрещения носить еду мальчик придумал себе новую заботу: идя по двору или по дороге, он усердно собирал щепки, складывал их в букетик, приносил Марье Власьевне и молча смотрел, как она разжигает огонь его щепками.

Ему нравилось, что в комнате было чисто. Наследив на полу мокрыми валенками, он брал тряпку и, посапывая, затирал свои следы. Все чаще заставал он Самохину за работой. Однажды она принесла в круглой корзине грязное белье, и на другой день, подходя к дому, он увидел густой белый дым, валивший из трубы. В комнате было тепло, на плите булькал котел. Марья Власьевна стирала, засучив рукава. Кочерыжка остановился на пороге и нежно улыбнулся:

— Тепло у нас!

Марья Власьевна сняла с него шинельку и придвинула к печке стульчик:

— Погрейся. Картинки погляди.

Она достала с полки отсыревшую книжку с картинками и подала мальчику. Собака уселась рядом. Переворачивая страницы, Кочерыжка смотрел картинки и шевелил губами.

Марья Власьевна придвинула к печке стул и стала читать. Она читала медленно: множество слов и собственный голос утомляли ее. Иногда, перевернув страницу, она замолкала, но глаза Кочерыжки смотрели на нее с нетерпеливым ожиданием, и она читала дальше, пока не кончила сказку.

— Вся? — с сожалением спросил Кочерыжка.

— Вся.

Мальчик пристально посмотрел на нее и, наклонив голову, спросил:

— Сапоги-скороходы есть у тебя?

— Нету. А у тебя? — вдруг лукаво спросила Марья Власьевна.

Он посмотрел на свои растоптанные валенки:

— И у меня нету!

Они оба засмеялись.

С тех пор чтение сделалось любимым занятием обоих. Марья Власьевна стирала белье для завод-

ской столовой; Кочерыжка терпеливо ждал, пока она закончит стирку и, придвинув свой стул к печке, начнет ему читать. От сказок перешли к рассказам. Первым читали «Каштанку». В том месте, где собачонка бегает по улице, разыскивая следы столяра, Кочерыжка разволновался. Он перестал слушать, заглядывал вперед и нетерпеливо спрашивал:

— А хозяин-то, хозяин-то у тебя где? — И сердился: — Не надо мне про гуся! Я говорю, хозяина ищи!

Марье Власьевне приходилось доказывать, объяснять, уговаривать. Кочерыжка слушал, соглашался и, прижимаясь к ее плечу, просил:

— Читай, баба Маня!

* * *

Жизнь начинала входить в прежнюю колею. Анна Дмитриевна уже не носила из столовой суп, а Петровна все чаще баловала своих горячими лепешками. Щеки у ребят порозовели. Кочерыжку заставляли пить козье молоко, и, когда он прыгал по комнате, Петровна острила:

— Ишь-ишь, коза-то бунтует!

От Васи пришло только одно письмо. Пахло оно недавним порохом, было полно тоски по дому и

уверенности в близком конце войны:

> «Только бы ступить мне на родную землю, обнять вас всех да заглянуть в глаза сыну… Экий парень небось вырос! Ведь шестой год ему пошел! Жаль, не узнает он меня!»

— Где же узнать-то? — вздыхала Петровна.

* * *

Стаял снег. Влажная черная земля подсохла. Люди радостно засуетились, высыпали на огороды. Разделывали грядки, подвязывали молодые деревца и перекликались со двора во двор звонкими помолодевшими голосами. В саду Марьи Власьевны зазеленели кусты клубники, вылезли из-под снега тоненькие прутики малины. На окне в тарелке мокли завязанные в тряпочку бобы. Кочерыжка каждый день заглядывал в тряпочку и умилялся, когда у бобов появлялись крошечные зеленые хвостики. Марья Власьевна привезла из города рассаду капусты, они вместе сажали ее и радовались крепким тугим стебелькам. В праздник Победы Марья Власьевна с Кочерыжкой снова сидела рядом за столом Анны Дмитриевны.

Народу собралось много, было шумно, пили за славных бойцов, за Васю Воронова. Петровна плеснула в чашку сладкого вина и подала Кочерыжке:

— Выпей, выпей, Владимир Васильевич, за папань-ку своего!

Общая радость отодвинула личное горе каждого. Плача о погибших, люди радовались живым. Марья Власьевна тоже плакала и радовалась, обнимая Петровну и Анну Дмитриевну. Кочерыжка смотрел на всех сияющими глазами и смущался, когда пили за его отца — Васю Воронова.

* * *

Каждый день с голубой станции шли военные. Маркевна то и дело, прикрыв глаза рукой, смотрела на большую дорогу и, завидев человека в зеленой гимнастерке, выходила на крыльцо. Инвалиду без руки или без ноги она сама шла навстречу, низко кланялась и говорила:

— Прости, сынок! За нас, грешных, пострадал!

И растроганный чужой человек обнимал ее сухонькие плечи:

— Не зря пострадал, мать.

Петровна после каждого поезда посылала Граньку поглядеть, не идет ли Вася.

Анна Дмитриевна вскакивала ночью и, заслышав голоса на дороге, окликала:

— Васенька!

Марья Власьевна, завидев издали военного, указывала на него Кочерыжке. Но мальчик уверенно отвечал:

— Не он. Я его изо всех сразу узнаю.

Он уверял, что даже сердитый Волчок не будет лаять на Васю.

— Ведь он не чужой, а отец мне, — простодушно говорил он.

Марья Власьевна грустно улыбалась. Ей представлялся высокий плечистый человек, который берет за руку Кочерыжку и навсегда уводит его из ее дома. Ей даже снилось, как мальчик идет за своим отцом, оглядываясь на крыльцо, где они так часто сидели с книжкой, на собаку, которую он кормил, и на нее, свою бабу Маню…

А Кочерыжка, не замечая ее тревоги, все чаще и чаще говорил:

— Отец едет ко мне!

* * *

Василий Воронов приехал. Он был крепкий, коренастый, с широкой улыбкой и громким голосом. Первая увидела его Гранька и с визгом

бросилась в сени. Мать и бабка выскочили на крыльцо. Вася сбросил с плеч два чемодана, крякнул и прижал к своей груди обе старые седые головы.

— Эх, старушки мои!

— Боец ты наш, защитник! — обливая слезами его гимнастерку, лепетала Петровна.

— Сыночек… сыночек… Васенька… — ощупывая его дрожащими руками, повторяла Анна Дмитриевна.

Гранька при виде брата вдруг застеснялась и спряталась за дверь.

— Давай, давай ее сюда! — кричал Василий, вытаскивая сестренку. — А ну покажись, какая стала? Маленькая, большая, добрая, злая?

Отпустив Граньку, Вася оглянулся вокруг и тревожно спросил:

— Где ж он?

Все поняли, что он спрашивает о Кочерыжке.

— Сейчас, сейчас, — заторопилась Петровна, повязывая платок.

Анна Дмитриевна торопливо стала рассказывать, что мальчик у соседки Самохиной, о которой она писала в письме.

— У той же? Значит, дружба у них идет? — Вася широко улыбнулся, схватил шапку и крикнул

Петровне: — Стой, бабушка! Я сам туда пойду! Я их спугаю сейчас! Который дом-то? — Весело улыбаясь, он побежал через дорогу к дому Самохиной.

Кочерыжка в длинных синих штанах стоял рядом с Марьей Власьевной, подрезая большими садовыми ножницами кусты малины. Марья Власьевна что-то говорила ему, оправляя выбившиеся из-под платка волосы. У забора залаял Волчок. Кочерыжка оглянулся, бросил ножницы и шепотом сказал:

— Баба Маня…

От калитки шел военный человек, отгоняя шапкой собаку. Кочерыжка бросился к нему, но вдруг, оробев, остановился.

— Кочерыжка! Владимир Васильевич?! — широко расставив руки, крикнул Вася Воронов.

Кочерыжка зажмурился и, подпрыгнув, обхватил его за шею.

— Сын-то, сын-то какой у меня вырос! — вглядываясь в его лицо, говорил Василий.

Марья Власьевна молча смотрела на них с растерянной жалкой улыбкой. Собака беспокойно взвизгивала.

— Узнал меня? — радостно спрашивал Василий, поглаживая пальцами темные брови мальчика и пристально вглядываясь в знакомые голубова-

то-зеленые глаза.

— Узнал! Сразу узнал! И она узнала! — Кочерыжка обернулся к Марье Власьевне и, вцепившись обеими руками в руку Василия, потащил его за собой. — Узнала отца моего? — быстро и тревожно спросил он Марью Власьевну.

— Не узнала, так я узнал! — с волнением в голосе сказал Вася и, подойдя к Марье Власьевне, расцеловал ее в обе щеки. — Мы друг дружку небось давно знаем! Через него познакомились, верно я говорю?

Марья Власьевна посмотрела в его открытые глаза и облегченно вздохнула. А Кочерыжка уже тащил Васю за руку, показывал ему грядки, кусты и говорил, задыхаясь от радости:

— Гляди, чего тут мы с ней насажали! Гляди, отец!

Слово «отец» он произносил твердо, как будто давно привык к нему. А Вася Воронов, поминутно оборачиваясь к Самохиной, повторял:

— Спасибо вам за него, спасибо! — И неудержимо радовался: — Нет, каков сын-то у меня!

Марья Власьевна улыбалась, кивала головой, но руки ее дрожали. У крыльца она остановилась, подняла на Васю Воронова серые усталые глаза и тихо спросила:

— Уедете куда или с матерью жить будете?

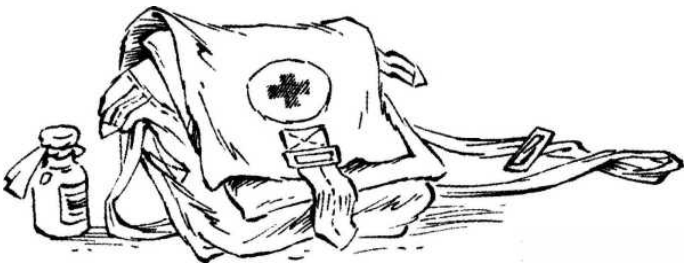
Он понял ее вопрос и твердо сказал:

— Никуда! У нас с ним теперь два дома, и оба свои. Чего же еще искать-то?



Константин Михайлович Симонов

Малышка



На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми: машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шли бои, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл то на одну, то на другую дорогу, и обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откочевывая все глубже и глубже на юг.

В пять часов вечера на передовых, у разбитого снарядом сарая, остановилась старенькая санитарная летучка — дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из

летучки вылезла ее хозяйка — военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли Малышкой, потому что она и в самом деле была настоящая малышка — семнадцатилетняя курносая девчонка с тонким детским голосом и такими маленькими руками и ногами, что, казалось, на них во всей армии не подберешь ни одной пары перчаток и сапог.

Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенькому лицу строгое выражение, спросила:

— Где раненые?

Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел Малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь тяжелораненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала:

— Ну вот, сейчас я вас отвезу, — и потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым, а в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и в грудь, двое — в голову. Малышка физически, всем телом вспомнила ту

дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата — двадцать километров страшных рытвин и ухабов — и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. Она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка.

Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен в ноги, — их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Теперь в летучке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал, то снова закрывал глаза, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд — мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь.

— Вы можете сидеть в кабине, а? — спросила

она. — Сидя ехать можете?

— Могу, — сказал раненый и снова закрыл глаза.

Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему под мышку, дотащила до машины и усадила в кабине на свое место.

— А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер.

И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил:

— А вы где?

— А я на подножке, — сказала Малышка весело.

— Свалитесь, — угрюмо заметил шофер.

— Не свалюсь, — ответила Малышка и, захлопнув за раненым дверцу, стала на подножку.

— Товарищ военфельдшер... — начал снова шофер.

Но Малышка крикнула, чтобы он ехал, тем строгим, не допускающим возражений голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых и когда окружающие не понимали, что она, Малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше.

Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, переваливалась с боку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах Малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимало в воздух и ударяло о дно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но, все-таки удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности.

К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с подножки, подбежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату: там было пусто. В следующей было тоже пусто.

Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк.

— Уехали? — спросила Малышка.

— Да, — сказала хозяйка. — Вот уж час как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло, сложили все и уехали.

Малышка вернулась к своей летучке и, откинув

брезент, заглянула внутрь кузова.

— Что, выгружаемся, сестрица? — спросил старый казак, раненный в голову и в лицо и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.

— Нет, милый, — ответила Малышка. — Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда медсанбат. Мы прямо в госпиталь поедем.

— А далеко это, сестрица? — спросил раненный в живот, лежавший навзничь, и застонал.

— А ты зря языком не трепи, — сердито сказал ему усатый. — Сколько будет, столько и поедем.

И Малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос «далеко ли?», а на то, что раненый стонет при ней. У нее дрожали руки — не от холода, а от усталости, оттого, что всю дорогу приходилось крепко цепляться, чтобы не упасть.

— Замерзли, сестрица? — спросил усатый.

— Нет, — сказала Малышка.

— А то мы потеснимся, садитесь к нам в кузов.

— Нет, — сказала Малышка. — Я ничего. Поедем поскорей.

Она снова стала на подножку, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя осталось еще двадцать километров. Пошел дождь. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-

то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох, шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится, а если слезет, то онемевшие пальцы совсем откажут ей. По ее расчетам, машина уже проехала километров пятнадцать, когда начался дождь. Ветер дул навстречу, и косой дождь валил, заливая лицо и глаза. Ей много раз казалось, что вот-вот она свалится.

Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, Малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где — она знала — помещался госпиталь. Около дома стояла доверху груженная полуторка, у машины возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов.

— Здесь госпиталь? — спросила Малышка.

— Был здесь, — сказал красноармеец. — Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим.

— И никого, кроме вас, нет? — спросила Малышка.

— Никого.

— А куда уехали?

Красноармеец назвал село за сорок километров отсюда.

— Никого тут? Ни врача ни одного, никого? — еще раз спросила Малышка.

— Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли, кто будет приезжать.

Малышка побрела к летучке. Пять минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится, сейчас они приедут: еще пригорок, еще поворот, еще несколько домов — и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще сорок километров — еще столько же, сколько они проехали.

Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла:

— Товарищи…

— Что, сестрица? — спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он все понимает.

— Уехал госпиталь, — сказала Малышка упавшим голосом. — Еще сорок километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?

В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них.

— Дотерпим, — сказал он. — Дотерпим. Ты откуда сама-то, дочка?

— Из-под Каменской, — сказала Малышка.

— Значит, песни казачьи знаешь?

— Знаю, — сказала Малышка, удивленная этим вопросом.

— «Скакал казак через долину, через маньчжурские края» знаешь песню? — спросил усатый.

— Знаю.

— Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем. Поняла? А ты нам тоже подпевай.

— Хорошо, — сказала Малышка.

Она стала на подножку, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи и гудение мотора она услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню:

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке…

Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот сейчас она перевернется и упадет в какую-нибудь

яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь:

Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел. Казак стрелою
В село родное поскакал…

Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда она запела тоже, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче оттого, что они поют, и если кто-нибудь из них стонет, то другие не слышат.

Через десять километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно — так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете:

Навстречу шла ему старушка
И стала речи говорить… —

заводил усатый хриплым сильным голосом.

«Тебе казачка изменила,

Другому счастье отдала...» —

подтягивали другие.

Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы.

— Загаси, чего на нас смотреть, — сердито сказал усатый. — Давай лучше подтягивай.

Заглушая стоны, песня звучала все сильней и сильней, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя.

— Поехали! — крикнул шофер.

Машина тронулась.

Пропев до конца песню, раненые начинали петь ее сначала.

Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с Малышкой подошли к летучке, чтобы наконец выгрузить раненых, из кузова все еще лилась песня. Голоса стали тише, трое молчали, должно быть потеряли сознание, но остальные пели:

«Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня».
Казак свернул коня налево,
Во чисто поле поскакал...

— До свидания, сестрица, — сказал усатый, когда его клали на носилки. — Значит, под Каменской живешь. После войны приеду за сына сватать!

Он был весь мокрый, усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент Малышке показалось, что его забинтованное лицо осветилось озорной улыбкой.

Она заснула, не раздеваясь, присев на корточки на полу у печки, в приемном покое. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его, а летучка подпрыгивает, и Малышка вздрагивает во сне.

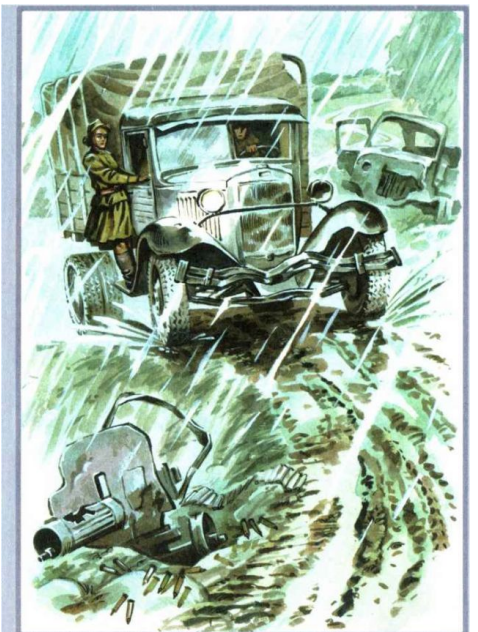
— Замучилась, бедная, — сказал проходивший врач.

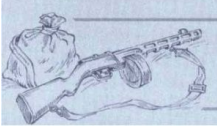
Вдвоем с санитаром он стащил с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыл ее другой.

А шофер, который был настоящим шофером и, уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате с другими шоферами, разбирал карбюратор и говорил:

— Восемьдесят километров проехали. Ну, Малышка — ясно — она и черта заставит ехать, если для раненых нужно, одним словом — сестра

милосердная.





К. Симонов
«Малышка»

Свеча



История, которую я хочу рассказать, произошла 19 октября сорок четвертого года.

К этому времени Белград был уже взят, в руках у немцев оставался только мост через реку Саву и маленький клочок земли перед ним на этом берегу.

На рассвете пять красноармейцев решили незаметно пробраться к мосту. Путь их лежал через маленький полукруглый скверик, в котором сто-

яло несколько сгоревших танков и бронемашин, наших и немецких, и не было ни одного целого дерева, торчали только расщепленные стволы, словно обломанные чьей-то грубой рукой на высоте человеческого роста.

Посреди сквера красноармейцев застиг получасовой минный налет с того берега. Полчаса они пролежали под огнем, и наконец, когда немножко затихло, двое легкораненых уползли назад, таща на себе двух тяжелораненых. Пятый — мертвый — остался лежать в сквере.

Я ничего не знаю о нем, кроме того, что по ротным спискам его фамилия была Чекулев и что он погиб девятнадцатого числа утром в Белграде, на берегу реки Савы.

Должно быть, немцы были встревожены попыткой красноармейцев незаметно пробраться к мосту, потому что весь день после этого они с маленькими перерывами стреляли из минометов по скверу и по прилегавшей к нему улице.

Командир роты, которому было приказано завтра перед рассветом повторить попытку пробраться к мосту, сказал, что за телом Чекулева можно пока не ходить, что его похоронят потом, когда мост будет взят.

А немцы все стреляли — и днем, и на закате, и

в сумерках.

Около самого сквера, поодаль от остальных домов, торчали каменные развалины дома, по которым даже трудно было определить, что из себя представлял этот дом раньше. Его настолько сравняло с землей в первые же дни, что никому бы не пришло в голову, что здесь еще может кто-нибудь жить.

А между тем под развалинами, в подвале, куда вела черная, наполовину заваленная кирпичами дыра, жила старуха Мария Джокич. У нее раньше была комната на втором этаже, оставшаяся после покойного мужа, мостового сторожа. Когда разбило второй этаж, она перебралась в комнату первого этажа. Когда разбило первый этаж, она перешла в подвал.

Девятнадцатого был уже четвертый день, как она сидела в подвале. Утром она прекрасно видела, как в сквер, отделенный от нее только искалеченной железной решеткой, проползли пять русских солдат. Она видела, как по ним стали стрелять немцы, как кругом разорвалось много мин. Она даже наполовину высунулась из своего подвала и только хотела крикнуть русским, чтобы они ползли к подвалу, потому что она была уверена, что там, где она живет, безопаснее, как

в эту минуту одна мина разорвалась около развалины, и старуха, оглушенная, свалилась вниз, больно ударилась головой о стену и потеряла сознание.

Когда она очнулась и снова выглянула, то увидела, что из всех русских в сквере остался только один. Он лежал на боку, откинув руку, а другую положив под голову, словно хотел поудобнее устроиться спать. Она окликнула его несколько раз, но он ничего не ответил. И она поняла, что он убит.

Немцы иногда стреляли, и в скверике продолжали взрываться мины, поднимая черные столбы земли и срезая осколками последние ветки с деревьев. Убитый русский одиноко лежал, подложив мертвую руку под голову, в голом скверике, где вокруг него валялось только изуродованное железо и мертвое дерево.

Старуха Джокич долго смотрела на убитого и думала. Если бы хоть одно живое существо было рядом, то она, наверное, рассказала бы ему о своих мыслях, но рядом никого не было. Даже кошка, четыре дня жившая с ней в подвале, была убита при последнем взрыве осколками кирпича. Старуха долго думала, потом, порывшись в своем единственном узле, вытащила оттуда что-то,

спрятала под черный вдовий платок и неторопливо вылезла из подвала.

Она не умела ни ползать, ни перебегать, она просто пошла своим медленным старушечьим шагом к скверу. Когда на пути ей встретился кусок решетки, оставшейся целой, она не стала перелезать через нее, она была слишком стара для этого. Она медленно пошла вдоль решетки, обогнула ее и вышла в сквер.

Немцы продолжали стрелять по скверу из минометов, но ни одна мина не упала близко от старухи.

Она прошла через сквер и дошла до того места, где лежал убитый русский красноармеец. Она с трудом перевернула его лицом вверх и увидела, что лицо у него молодое и очень бледное. Она пригладила его волосы, с трудом сложила на груди его руки и села рядом с ним на землю.

Немцы продолжали стрелять, но все их мины по-прежнему падали далеко от нее.

Так она сидела рядом с ним, может быть, час, а может быть, два и молчала.

Было холодно и тихо, очень тихо, за исключением тех секунд, в которые рвались мины.

Наконец старуха поднялась и, отойдя от мертвого, сделала несколько шагов по скверу. Вскоре

она нашла то, что искала: это была большая воронка от тяжелого снаряда, уже начавшая наполняться водой.

Опустившись к воронке на колени, старуха стала горстями выплескивать со дна накопившуюся там воду. Несколько раз она отдыхала и снова принималась за это. Когда в воронке не осталось больше воды, старуха вернулась к мертвому русскому. Она взяла его под мышки и потащила.

Тащить нужно было всего десять шагов, но она была стара и три раза за это время садилась и отдыхала. Наконец она дотащила его до воронки и стянула вниз. Сделав это, она почувствовала себя совсем усталой и долго сидела и отдыхала.

А немцы все стреляли, и по-прежнему их мины рвались далеко от нее.

Отдохнув, она поднялась и, став на колени, перекрестила мертвого русского и поцеловала его в губы и в лоб.

Потом она стала потихоньку заваливать его землей, которой было очень много по краям воронки. Скоро она засыпала его так, что из-под земли ничего не было видно. Но это показалось ей недостаточным. Она хотела сделать настоящую могилу и, снова отдохнув, начала подгребать землю. Через несколько часов она горстями на-

сыпала над мертвым маленький холмик.

Уже вечерело. А немцы все стреляли.

Насыпав холмик, она развернула свой черный вдовий платок и достала большую восковую свечу, одну из двух венчальных свечей, сорок пять лет хранившихся у нее со дня свадьбы.

Порывшись в кармане платья, она достала спички, воткнула свечу в изголовье могилы и зажгла ее. Свеча легко загорелась. Ночь была тихая, и пламя поднималось прямо вверх. Она зажгла свечу и продолжала сидеть рядом с могилой, все в той же неподвижной позе, сложив руки под платком на коленях.

Когда мины рвались далеко, пламя свечи только колыхалось, но несколько раз, когда они разрывались ближе, свеча гасла, а один раз даже упала. Старуха Джокич каждый раз молча вынимала спички и опять зажигала свечу.

Близилось утро. Свеча догорела до середины. Старуха, пошарив вокруг себя на земле, нашла кусок перегоревшего кровельного железа и, с трудом согнув его старческими руками, воткнула в землю так, чтобы он прикрывал свечу, если начнется ветер. Сделав это, старуха поднялась и такой же неторопливой походкой, какой она пришла сюда, снова пересекла скверик, обошла

оставшийся целым кусок решетки и вернулась в подвал.

Перед рассветом рота, в которой служил погибший красноармеец Чекулев, под сильным минометным огнем прошла через сквер и заняла мост.

Через час или два совсем рассвело. Вслед за пехотинцами на тот берег переходили наши танки. Бой шел там, и никто больше не стрелял из минометов по скверу.

Командир роты, вспомнив о погибшем вчера Чекулеве, приказал найти его и похоронить в одной братской могиле с теми, кто погиб сегодня утром.

Тело Чекулева искали долго и напрасно. Вдруг кто-то из искавших бойцов остановился на краю сквера и, удивленно вскрикнув, начал звать остальных. К нему подошло еще несколько человек.

— Смотрите, — сказал красноармеец.

И все посмотрели туда, куда он показывал.

Около разбитой ограды сквера, над засыпанной землей воронкой от снаряда высился маленький холмик. В головах его был воткнут полукруг горелого железа. Прикрытая им от ветра, внутри тихо догорала свеча. Огарок уже оплывал, но

маленький огонек все еще трепетал, не угасая.

Все подошедшие к могиле почти разом сняли шапки. Они стояли кругом молча и смотрели на догоравшую свечу, пораженные чувством, которое мешает сразу заговорить.

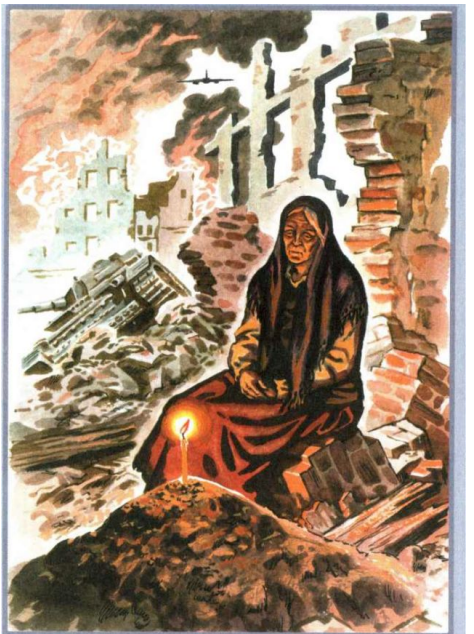
Именно в эту минуту, не замеченная ими раньше, в сквере появилась высокая старуха в черном вдовьем платке. Молча, тихими шагами она прошла мимо красноармейцев, молча опустилась на колени у холмика, достала из-под платка восковую свечу, точно такую же, как та, огарок которой горел на могиле, и, подняв огарок, зажгла от него новую свечу и воткнула ее в землю на прежнем месте. Потом она стала подниматься с колен. Это ей удалось не сразу, и красноармеец, стоявший ближе всех к ней, помог ей подняться.

Даже и сейчас она ничего не сказала. Только, посмотрев на стоявших с обнаженными головами красноармейцев, поклонилась им и, строго одернув концы черного платка, не глядя ни на свечу, ни на них, повернулась и пошла обратно.

Красноармейцы проводили ее взглядами и, тихо переговариваясь, словно боясь нарушить тишину, пошли в другую сторону, к мосту через реку Саву, за которой шел бой, — догонять свою роту.

А на могильном холме, среди черной от пороха земли, изуродованного железа и мертвого дерева, горело последнее вдовье достояние — венчальная свеча, поставленная югославской матерью на могиле русского сына.

И огонь ее не гас и казался вечным, как вечны материнские слезы и сыновнее мужество.



К. Симонов
«Свеча»

Алексей Николаевич Толстой
Русский характер



Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его… Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник

из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется, — у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужина-

ли. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения…» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных…» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий. — Любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный…» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть… Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернулся на одной ноге…

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев:

— …Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает… Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, — кричит, — полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево… Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо… А товарищ лейтенант

как даст ему в бок, — брызги! Как даст еще в башню, — он и хобот задрал… Как даст в третий, — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх… Экипаж и полез через запасной люк… Ванька Лапшин из пулемета повел, — они и лежат, ногами дрыгаются… Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел… Фашисты кто куда… А — грязно, понимаешь, — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал… Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей… А я еще — и проутюжил, — остальные руки вверх — и Гитлер капут…

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания,

комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт… «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев. — Слышу, у него сердце стучит…»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто щупал свое лицо, будто привыкал к нему Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но

вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи… «Ох, знать бы, — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка…» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, ку-

сок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью… Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

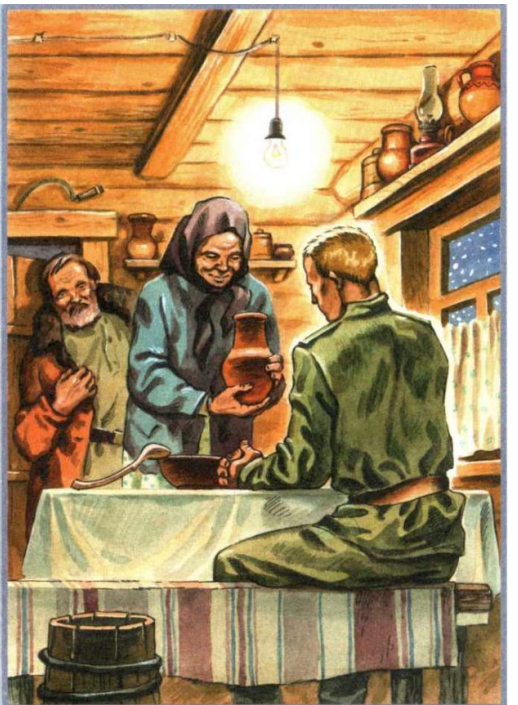
У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.

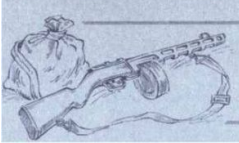
— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.





А. Толстой
«Русский характер»

Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать,

сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать.

Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видали, чай взрослый стал, с усами ходит… Эдак — каждый день — около смерти, чай и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама…»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинки пшенные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя — поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, — свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая…

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите…

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти — сегодня же.

Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения

своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, — пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, — эту занозу он из сердца вырвет.

...Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это

был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась…»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума… Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «*Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш…*» И так далее, и так далее — на четырех страницах мелким почерком, он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, — прибегает солдат и — Егору Дремову:

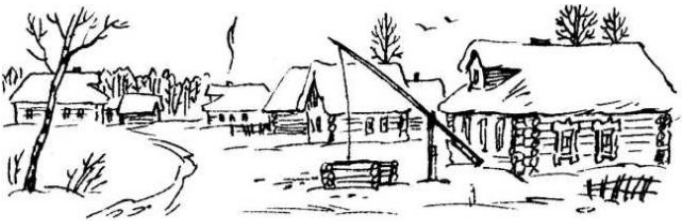
«Товарищ капитан, вас спрашивают…» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе, — все покашливает… Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны, «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого…»

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить… Не отсылайте меня…»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.



Михаил Александрович Шолохов
Судьба человека



Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода

солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивавший на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Бланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький, видавший виды «виллис», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения се-

ли в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Бланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде, — часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт

низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина,

подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь. — он уже на

рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, — я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело — с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком. — Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «*Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы*».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе… Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника. Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темно-

ту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке… Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только гляди ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидела на нем подбитая легкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточки, — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а, скорее, наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская

рука… Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В Гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, — может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы?

Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни

крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое — жалеет, значит…

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легости, нальет граненый стаканчик водки: «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как Бог свят, и на второй день напился. Так и бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года еще две девочки… Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу — семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом

ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса…

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина

купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе…

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя… Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история… Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево… И детишки ее уговаривают и я, — ничего

не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой… Андрюша… не увидимся… мы с тобой… больше… на этом… свете…»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло. Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну опять обнял ее, вижу, что она не в себе…

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его

словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы…

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверно, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама

вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра… Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез… По большей части такой я ее и во сне всегда вижу… Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут…

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт.

Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди, убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава

на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много! Только не пришлось мне и года повоевать… Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки…

Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная бата-

рея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным…

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и баста!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная! — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь

километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось… Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю. Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то, бой-то уже сзади меня идет… Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный,

потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает…

Ох, браток, нелегкое это дело — понять, что ты не по своей воле в плену! Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал… Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла — не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно…

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу — сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». Я сел — неохота лежа помирать, — потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой па-

ники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, — а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает — мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Осталь-

ные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным, кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!..

А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем.

Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, — ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побита осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я

военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света невзвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену, и в потемках

свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал… «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм! Я ж верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши знаешь какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое… А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать

нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?»

Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси — все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, — думаю, — не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у

меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка и очень собою бледный. «Ну, — думаю, — не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, — говорю, — держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил… Первый раз в жизни убил, и то своего… Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят: «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде

такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст… А потом — бегом, держу прямо на восход солнца…

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас — и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит… Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все

мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой… живой я остался!

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать. Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били Богом

проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься… Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии…

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не впору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два че-

ловека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке, в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет — песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки

надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матерщинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра — второму и так и далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему руку прикладывать, он, чтобы рас-

палить себя, минут десять перед строем ругается.

Он матерщинничает почем зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает… Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель, москвич, злился на него страшно. «Когда он ругается, говорит, я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл.

Попрощался я с товарищами — все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел.

Иду по лагерному двору, на звезды погладываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги

не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно…

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою… Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, — говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останет-

ся». Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но, как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два Железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей».

Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло…

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой

сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну». — говорю ему.

Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок, и фашисты перестали пленными брезговать.

Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам.

Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был

фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него под воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было.

Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на Родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то

оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли…

«Ну, — думаю, — ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье.

За два дня, перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Трос-

ницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками машут: мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю,

подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями… Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем…

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как

и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати „языков“. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал

— вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях…

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить…

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут… На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай Бог никому таких писем получать! Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома… Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма… Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку; немного отле-

жался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул… Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе… Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво

шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича.

Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты

к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись… Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия

немецкий снайпер…

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого

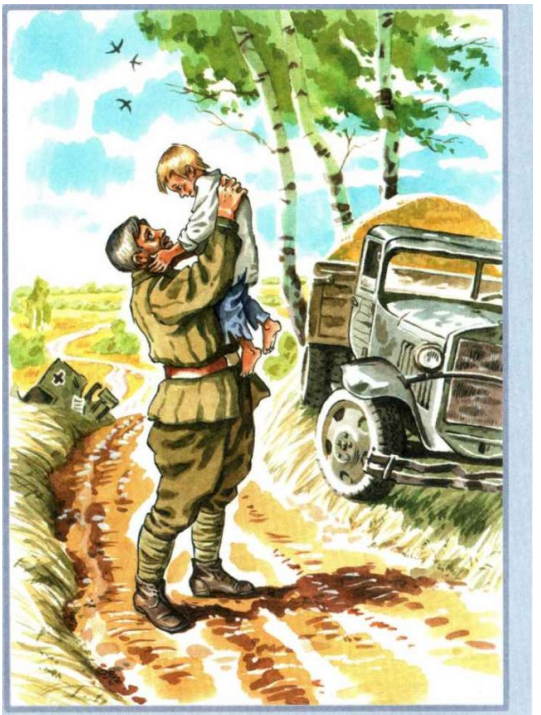
я когда-то знал… Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и будто что-то во мне оборвалось… Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить

чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует… И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился — кто что даст.



М. Шолохов
«Судьба человека»

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там, сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих, загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь про-

падать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся… Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил

мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоим глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай Бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это

оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уж сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него…

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его, сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя…

Первое время он со мной на машине в рейсы

ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью — вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло — днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться. «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит,

когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой

подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться — слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять… Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону… Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть — они уходят от меня, будто тают на глазах… И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез…

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую,

как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы…

Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед… Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое

главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза…



Владимир Осипович Богомолов
Иван

1



В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться... — Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. — Тут задержали одного...

Младший лейтенант приказал доставить к вам…

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплющенную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал…

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намокшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку, — у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

— Иди стань к печке! — велел я ему. — Кто ты такой?

Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было

скуластое, темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет, — клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

— Подложите дров и ожидайте наверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев, — произнес он тихо с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла. — Сейчас же сообщите в штаб, пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — Я не мог сдержать улыбки. — Ну

а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый?

— В штаб армии.

— А кто это — пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вэ-че сорок девять пятьсот пятьдесят…

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя по говору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья, настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя все и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с про-

ступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — скомандовал я. — Ты что, стесняешься?

Он, так же молча повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне все привезут.

— Вот как! — усомнился я. — А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял

возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынный, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. — Ваше дело — доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него. — Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай, — ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь, — упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен, — сказал я раздраженно. — И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это — пятьдесят первый?

Он молчал, сбычась, сосредоточенно.

— Откуда ты?.. — с трудом сдерживаясь, спросил я. — Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряженного раздумья — он выдавил сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — Я не поверил. — А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И все! За мной приедут! — убежденно выкрикнул он.

— Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? — за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять

охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает. — Я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»…

— Бондарев?.. — переспросил Маслов удивленно. — Какой Бондарев? Майор из оперативного, поверяющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой там поверяющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требует, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это — пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет, — невольно улыбаясь, сказал я. — Это мальчик… понимаете, мальчик лет двенадцати…

— Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлека-

ешься?! — заорал в трубку Маслов. — Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе…

— Товарищ капитан! — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела. — Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете…

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво. — И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты…

— Так я думал…

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охранением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял… — Я на мгновение замялся. — Говорит, что с той стороны.

— «Говорит»! — передразнил Маслов. — На ковре-самолете? Он тебе плетет, а ты и развесил уши. Приставь к нему часового! — приказал он. — И если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается…

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому, — вдруг решительно и громко произнес мальчик, — он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати, самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной… Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться… Я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе, — я доложил! Приказано посадить тебя в землянку, —

приврал я, — и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позвоню. — Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

— Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

— Откуда ты его знаешь?

Молчание.

— Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья и сквозь зубы:

— Капитана Холина.

Холин — офицер разведывательного отдела штабарма — также был мне известен.

— Откуда ты их знаешь?

— Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь, —

не ответив, потребовал мальчишка, — или я сам позвоню!

Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

— Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать, — твердо заявил я, стараясь подавить волнение. — Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

— Откуда он их знает? — спросил Маслов устало.

— Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

— Если считаешь, что нужно, — докладывай, — с каким-то безразличием сказал Маслов. — Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Несолидно!

— Так разрешите мне позвонить?

— Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай… А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня

находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову…

— Ясно, — прервал меня Дунаев. — Ожидайте. Я доложу.

Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой?.. Говорите с «Волгой», — сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. — Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке. — Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним; думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся поделикатней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет

— в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

* * *

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом, — промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть, — поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного — расторопного бойца из пятой роты — для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «…2… 4,5…» Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.

Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши — давно не мытые. Время от

времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода, — не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан, — а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, послюнив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву…

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои, недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спину тебе потру, — не выдержав, предложил я нерешительно.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был ее надеть, — и помешивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшенную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и от-

чужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок, затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чаю с печеньем из моего доппайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»… Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать…





В. Богомолов
«Иван»

2

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу — ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично, — как говорил наш командир полка, «для профилактики» — каждые несколько минут обстреливали нашу прибреж-

ную полосу и саму реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть, — в этом, рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин, наставлении было сказано: *«...если же температура воды ниже +15°, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие*

реки невозможна». Это если ниже +15°, а если примерно +5°?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедля заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там, с огольцом разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил, стоя у пулемета, и не курил.

— А что такое? — поинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночку

последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде, — подтвердил другой не очень уверенно. — Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новоселок, — неторопливо затянувшись, соврал я (Новоселки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами). — У него немцы мать угнали, места себе не находит… Тут и в реку полезешь.

— Вон оно что!..

— Тоскует, бедолага, — понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет цигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо. — Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, — мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

— Бдительный я, — глухим голосом упрямо объявил Юрлов. — И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не

могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одежа его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю — подозрительно!..

— Ишь, спрашивает, как с подчиненного, — усмехнулся пожилой. — Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся…

…Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — легкий пар шел изо рта.

— Еще не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбужу.

— А он дошел?

— Кто — он? — не понял я.

— Боец. С пакетом.

— Дошел, — сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас — не знаю. Нервеность во мне какая-то, — огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей — несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— …Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь…

— В Диковке немцев — к берегу не подойдешь, — сказал мальчик, виновато улыбаясь. — Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила — думал, конец…

— Так ты что — вплавь?! — изумленно вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застукают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло… не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу, — мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл…

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «Вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько, — только на гимнастерке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недовольство. — Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.

— Со свиданьицем! — весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался, — задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтобы ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик. —

А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу, — вздохнул мальчик. — Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках.

При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на середку стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат, — отказался Холин. — После водки не в цвет.

— Тогда поехали, — вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол. — Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедем, — с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место. — Сейчас поедем, — повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот черт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал, — словно оправдываясь, пояснил Холин. — Но нам только доехать, что-нибудь придумаем…

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно

посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько же добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. — Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество, — отшутился Холин. — И конфеты ему ни к чему…

— Не будь жмотом!

— Придется… Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. — снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Ванюша, прощай! — Я протянул руку мальчику.

— Не «прощай», а «до свидания»! — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу

разглядел его.

— Родионов, — тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — послышался совсем рядом, за моей спиной, хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте.

Я обошел кругом — никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее:

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, послышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя, — заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов — командир взвода из разведроты дивизии — появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромен, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя, — может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев — эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной, с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей,

не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду: когда же пришлют настоящего командира батальона — пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

— Ты чего, ко мне? — оборачиваясь к нему,

наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП [1] и оказывать содействие.

— К вам, — говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь. — Немца бы посмотреть…

— Ну что ж… посмотри, — помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плесом Днепра — сумрачного, щербатого на ветру — вражеский берег. Вдоль кромки воды — узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обо-

---

[1] Примечания: 1

НП — наблюдательный пункт.

роны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега — пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением — я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном — тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.

— Ляхов и Мороз, — не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа — пять человек — ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвав-

шись на мине, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое — Ляхов (в тельняшке) и Мороз — залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

— Забрать их надо бы… — закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

— Ванюшка-то?.. — Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. — Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.

— Что такое?

— Да разве ж война — занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся — и ни в какую. Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

— Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

— Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют — сам уйдет. Уже уходил раз… — Вздохнув, Катасонов смотрит на часы и

спохватывается: — Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? — указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

* * *

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» — стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

— Ты мне понадобишься! — предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

— …к тебе подъедет Катасонов — поможешь ему!.. Он сам объяснит… И покорми в обед го-

ряченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль, — наказывает Холин. — И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте…

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба, но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка — самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

— Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твои войска…

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало наслышан от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал.

Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело [2] и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит невдалеке под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом — Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

— Ну ладно, давай! — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. — Посмотрите все хорошенько и отдыхайте! Часика через два-три я подойду…

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный

---

[2] Примечания: 2

Подённое дело — дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка.

день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежеотрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения — траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты — основной и вспомогательные. Я показываю.

— Тишина-то какая! — не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега — отсюда, с небольшого пригорка, видно все как на ладошке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

— А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

— Мальчик? — рассеянно переспрашивает Хо-

лин, думая о чем-то другом. — А-а, Иван!.. Много будешь знать — скоро состаришься! — отшучивается он и предлагает: — Ну что ж, давай опробуем твое метро!

В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем чуть пригнувшись, и кажется — конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного — и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи, верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин — под настроение — любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

— Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь — Божья благодать!..

— Курорт! — мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый, сутулый боец в ватных

куртке и брюках. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд — выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой.

— Снайпер? — спрашивает Холин.

— Курорт, — угрюмо повторяет Чупахин. — Грязевые ванны под присмотром любящих родственников…

…Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

— Ты знаешь, кто это там, в тельняшке? — спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

— Знаю.

— И что же, не можешь их вытащить? — говорит он с недовольством и презрительно. — На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

— Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

— Подробности в афишах! — хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона.

Я, не раздумывая, следую за ним.

— Ты мне больше не нужен! — вдруг объявляет он, не оборачиваясь.

И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад, к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

— Майор два раза звонили. Приказали вам доложиться...

Я звоню командиру полка.

— Как там у тебя? — прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

— Нормально, товарищ майор.

— Там к тебе Холин приедет… Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие…

«Будь он неладен, этот Холин!..»

Меж тем майор, помолчав, добавляет:

— Это приказание «Волги». Мне сто первый звонил…

«Волга» — штаб армии; «сто первый» — командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! — думаю я. — А бегать за Холиным я не буду! Что попросит — сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться — это уж, как говорится, извини-подвинься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, отрыты и оборудованы еще немцами, — понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер — статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами

— в растерянности прикладывает руку к… марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков — старенький, страдавший астмой военфельдшер, — погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она?.. Пока я ею недоволен.

Военная форма — стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах — все ей очень идет: военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б, влюбился и, ответь она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном… Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в

ротах опять «форма двадцать», [3] а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров.

Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет: «Слушаюсь… слушаюсь… слушаюсь», — заверяет меня, что старается и скоро «все будет хорошо».

Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству — я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы.

В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер — следом.

Вправо, шагах в ста от нас, бугор, в котором устроен НП дивизионных артиллеристов. С

---

[3] Примечания: 3

Проверка по «форме двадцать» — осмотр личного состава подразделения на вшивость.

тыльной стороны бугра, у подножия — группа офицеров: Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батарей из артполка, командир минометной роты третьего батальона и еще два неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке третьего батальона.

Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллеристы и минометчик приветственно машут мне руками; я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холин окликнет, позовет меня — ведь я должен «оказывать ему всяческое содействие», но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте. И я оборачиваюсь к военфельдшеру:

— Даю вам два дня. Навести в санслужбе порядок и доложить!

Она что-то невнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера. И обязательно мужчину.

До вечера я нахожусь в ротах: осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсанбата, и заби-

ваю с ними «козла», в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка: «Разбуди в 18.30. Холин».

Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, позевывая, потягивается и говорит:

— Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура!

— Чего? — не поняв, спрашиваю я.

— В бабах, говорю, толк понимаешь. Фельдшерица подходя-явая! — Пройдя в угол, где подвешен рукомойник, Холин начинает умываться. — Только днем ты к ней не ходи, — советует он, — авторитет подмочишь.

— Иди ты к черту! — выкрикиваю я, озлясь.

— Грубиян ты, Гальцев, — благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь. — Дружеской подначки не понимаешь… И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки нет!

Вытерев лицо «грязным» полотенцем, он интересуется:

— Меня никто не спрашивал?

— Не знаю, меня не было.

— И тебе не звонили?

— Звонил часов в двенадцать командир полка.

— Чего?

— Просил оказывать тебе содействие.

— Он тебя «просит»?.. Вон как! — Холин ухмыляется. — Здорово у вас дело поставлено! — Он окидывает меня насмешливо-пренебрежительным взглядом. — Эх, голова — два уха! Ну какое ж от тебя может быть содействие?..

Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный, сообщает:

— Эх, и ночка будет — как на заказ!.. Все же Господь не без милости. Скажи, ты в Бога веруешь?.. А ты куда это собираешься? — спрашивает он строго. — Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобишься…

Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова:

Эх, ночка темна,
А я боюся,
Ах, проводите
Меня, Маруся…

Я разговариваю по телефону с командиром четвертой роты и, когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько

стучат.

— Войдите!

Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку к пилотке, докладывает:

— Прибыли, товарищ капитан!

— Убери часового! — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь.

Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Близ землянки — знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет:

— Иван…

— Я, — слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.

4

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает:

— Может, ляжешь отдохнешь?

— Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

— Тогда достань нам чего-нибудь интересное, — говорит мне Холин, — журнальчик там или еще что… Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтовых иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел — он откладывает их в сторону.

Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю

ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан. Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне:

— …Ты бы послушал, как шпрехает — как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует…

Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

— Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что

сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка-«штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне.

— Клевые тузики! — шепчет он.

«Вот черти — пронюхали!..» В батальоне пять рыбачьих плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту… Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живешь, — замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу, — улыбаюсь я. — А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и оборачивается: — Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда пожалуйста! — Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остается совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться, — говорит мне Холин, — ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки.

— А вы меня с собой возьмете? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда — с собой?

— На тот берег.

— Видали, — кивает на меня Холин, — охотничек! А зачем тебе на тот берег?.. — И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умеешь?

— Как-нибудь! И гребу и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? по вертикали? — с самым серьезным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывешь?

— Раз пять, — говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время. — Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силе-ен мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!.. — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите, — указывает на меня Холин, — завелся с пол-оборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмем — что у нас, рук нет? А случ-чего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь!

— Да будет вам, — вступается мальчик примиряюще. — Он и так даст… Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придется, — натянуто улыбаясь, го-

ворю я.

— Так идем посмотрим! — берет меня за рукав Холин. — А ты здесь побудь, — говорит он мальчику. — Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью.

— Ух и нож! — восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются. — Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь… это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку.

…На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные

из бревен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком… Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперед!..» И я, а за мной вся рота — сто с лишним человек, — прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам… Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу…

Я еще не решил, что сделаю с финкой: оставлю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне…

— Я тебе другой подарю, — обещаю я мальчику.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза. — Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев, — бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова. — Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.

— Будет у тебя такой нож, — обещает ему Ката-

сонов, осмотрев финку. — Я достану.

— Да я сделаю, честное слово! — заверяю я. — А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж, — соглашается наконец мальчик обидчивым голосом. — А сейчас оставь его — поиграться…

— Оставь нож, и идем, — торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застегивая ватник, вслух рассуждаю я. — Брать вы меня с собой не берете, а где лодки, и без меня знаете.

— Идем, идем, — подталкивает меня Холин. — Я тебя возьму, — обещает он. — Только не сегодня.

Мы выходим втроем и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звездочки, ни просвета.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось, — шепчет Холин. — Он и в партизанах был, и в Тростянце — в лагере смерти… У него на уме одно: мстить до последнего! Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку — трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть…

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом:

— Мы тут два дня бились — уговаривали его поехать в суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и по-хорошему, и грозился. А в конце концов разрешил сходить, с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушел. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была темная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев не далее войскового тыла. [4] А

[4] Примечания: 4

На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название *войскового тыла* (или же тактического), а тыл армий и фронтов — оперативного тыла.

проникнуть и легализироваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять — десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удается. Дело в том, что взрослый в любом обличье вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирушка — быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу… Если б ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено: если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его…

— Почему они, а не ты?

— Я бы взял, — шепчет Холин, вздыхая, — да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать! — усмехаясь, признается он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником: Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчике он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где, заваленные ельником, хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов

осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борта. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на трех-четырех человек, не более.

— Вериги эти ни к чему. — Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо. — Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде…

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин. — Подайте!..

Мы «подаем»; он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по-видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами — одним гребя, другим табаня, — разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт так, что, того и гляди, зальется вода, потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище.

— Клевый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдет, — соглашается Холин. — Он, оказывается, действительно спец лодки воровать — дрянных не берет!.. Покайся, Гальцев: скольких хозяев ты обездолил?..

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулеметные очереди.

— Садят в Божий свет, как в копеечку, — шепелявя, усмехается Катасонов. — Расчетливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить вслепую?.. Товарищ капитан, может, потом, под утро, ребят вытащим? — нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня…

Катасонов легко подгребает. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидолом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне: — Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надежного и чтоб молчать умел! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-ноль разведгруппа, возможно, — так и скажи ему: возможно! — подчеркивает Холин, — пойдет на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет. — Холин указывает рукой вниз по течению. — Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдет, как и зачем — об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнешь, я тебе…

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущенно. — Что я, маленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся. — Он похлопывает меня по плечу. — Я же должен тебя предупредить… А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

Командир взвода охранения встречается мне неподалеку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку.

Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись, — просит меня мальчик. — Я нечаянно… честное слово, нечаянно…

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердишься? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же, — отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру.

Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне. Он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом… Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь…

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

— Ну как, прочел?

— Ага… Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им еще потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это еще в партизанах…

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я. — А почему же ушел?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолетом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как — подорвал?

— Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпеж. Живешь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные… Или значение травоядных в жизни человека…

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К че-

му?.. Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем я здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то, — соглашаюсь я. — Тебе другое нужно. Тебе бы вот в суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин научил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал: и в партизанах, и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?..

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убежденно. — Только зря!.. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты еще маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подергивается. — Что ты меня агитируешь, что?! — выкрикивает он взволнованно. — Ты… ты ничего не знаешь и не лезь!.. Напрасные хлопоты…

Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается

на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Все куришь, — недовольно замечает мальчик. Он любуется ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок. — От курева легкие бывают зеленые.

— Зеленые? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин. — Ну и пусть зеленые. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности

он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Он не мог! Его вызвали по тревоге, — объясняет Холин. — Я даже не представляю, что там случилось… Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают…

— Мог бы забежать. Тоже друг… — обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен.

С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы что же, вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Он пойдет с нами, — быстрым кивком указывает на меня Холин.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят, — заявляет Холин. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я все же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня

пристально, с презрением и неприязнью, так что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твердо заявляю я, пытаясь собраться с мыслями. — Просто неожиданно как-то…

— В жизни все неожиданно, — говорит Холин задумчиво. — Я бы тебя не брал, поверь: это необходимость! Катасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось… Мы вернемся часа через два, — уверяет Холин. — Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита… Колбасова, — подумав, говорю я. — Он парень боевой…

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связываться. Замполиты — народец принципиальный: того и гляди, в политдонесение попадем, тогда

неприятностей не оберешься, — поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху. — Спаси нас Бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село… Ты же живой человек, черт побери! Мы вернемся через два… ну, максимум через три часа, — подумаешь, большое дело!..

…Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем…

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел — причем весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это, по существу, тот же наступательный бой, только ведется он огра-

ниченными силами и накоротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться…

5

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, — объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедля обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова

огня, — отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометные и пулеметная рота — должны интенсивным артналетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе все ясно?

— Да, будто все.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: а не утеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела?

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода

и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю.

Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет «слабины», разрывов… допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением. — Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других

участках слабенькое прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки километров, — невесело вздыхает Холин. — Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действуют, учти!..

Он встает и, подсев к мальчику на нары, вполголоса и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его:

— …В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован… Чаще прислушивайся. Замирай и прислушивайся! По траншеям ходят патрули — значит, подползешь и выжидай!.. Как патруль пройдет — через траншею и двигай дальше…

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина:

— …будешь ждать в Федоровке… На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторож-

ным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже…

— А Катасоныч уехал и не зашел, — с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы… Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю, — шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит. — Но все же мог забежать…

Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо суечусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку.

— Время, — взглянув на часы, говорит мне

Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маскхалат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего, — ободряет он. — Смелей! Порвешь — новые выпишем.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты Ф-1 подвешены к поясным ремням (Холин берет еще увесистую противотанковую — РПГ-40); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотрены, и Холин

проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые, с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие — все штопаные — фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплечная котомка, портянки и какие-то тряпки.

В кусок рядна Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше, армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли, да и хлеб не формовой, а подовый — из хозяйской печки.

Я гляжу и думаю: как все предусмотрено, каждая мелочь…

Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление

диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

— Смола, — говорит он. — Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять бездомный отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И все.

— Попрыгали, — говорит мне Холин.

Проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю, мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и

шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

* * *

Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков (чтобы лучше видеть в темноте), мы идем к лодке: я впереди, мальчик шагах в пятнадцати сзади меня, еще дальше Холин.

Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался: никто, кроме нас, не должен его теперь видеть — Холин самым решительным образом предупредил меня об этом.

Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты — по местам!.. К бою!..» Трещат кусты, и слышится тихая ругань — расчеты изготавливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов.

В операции, кроме нас, участвует около двухсот человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас, шквалом огня обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений.

Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но, по указанию Холина, я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного — немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора — тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет: я знаю, что не только он — все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед.

— Только без комментариев! — внушительным шепотом предупреждает меня Холин.

Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели: я же не мальчик и сам соображаю, что к чему.

Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня; отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке.

— Закуривай, — предлагаю я, достав папиросы и взяв одну себе, другую сую ему.

Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной

нише на слежавшемся сене кто-то спит, успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише — Катасонов. Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю ее — посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо; над левым глазом маленькая аккуратная дырочка: входное пулевое отверстие…

— Глупо получилось-то, — тихо бормочет рядом со мной Демин, его голос доходит до меня будто издалека. — Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали… Капитан бросился к нему, трясет: «Капитоныч!.. Капитоныч!..» Глянули — а он наповал!.. Капитан приказал никому не говорить…

Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега…

— Без комментариев! — слышится со стороны реки его повелительный шепот.

И я все понимаю: мальчик уходит на задание и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя — он ничего не должен знать.

Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде.

Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат на изготовку.

— Садись ровнее, — шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой. — Следи, чтобы не было крена!

Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит: это сигнал начала операции.

Ему тотчас отвечают: справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге третьего батальона находятся командиры поддерживающих подразделений и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел.

Развернув лодку, Холин начинает грести — берег сразу исчезает. Мгла холодной, ненастной ночи обнимает нас.

6

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода тихо всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край — вспышки не так ярки из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять — семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладем в рот по два кусочка сахару и старательно сосем их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет — пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку.

— МГ-34,— шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Боишься?

— Немножко, — еле слышно признается он. — Никак не привыкну. Нервеность то… И побираться — тоже никак не привыкну. Ух и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться, попрошайничая.

— Послушай, — вспомнив, шепчу я, — у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник, случаем?

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та не знаю, где сейчас… — Голос его дрогнул. — И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише — видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле; еще миг — и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряженно вслушиваемся.

Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного — ни шума, ни говора, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылазь и держи…

Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку, — ощупав его рукой, шепчу я.

— Теперь уж все равно, — отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает:

— Порядок! Все подшито, прошнуровано…

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок

под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком глаза я вижу мальчика — одежа его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он…

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Трупы наших разведчиков», — догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы, — быстро шепчет Холин и увлекает его вперед. — Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают! — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти еще примерно столько же.

Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился — тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко, но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его минирован, а края окаймлены сплошными

траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат. И весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед. Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперед еще шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — Отогнув рукав маскхалата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении еще четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов — он заметен на песке метрах в трех вправо от нас — очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду, — чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя, — вдруг шепчет Холин. — По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик. — Пойду один! Ты большой — с тобой застукают.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу, — упрашивает Холин шепотом. — Там глина — наследишь. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик. — Я сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется…

— До встречи, — помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! (Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его.) Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Федоровке!

— До встречи, — обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая ее.

Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волнуюсь в эту минуту. Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.

7

Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо, холодный, осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью.

Прошло минуты четыре, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, послышались шаги и тихий, невнятный гортанный говор.

«Немцы!..»

Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать — я, может, раньше его расслышал и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке.

Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлюпала под ногами нескольких человек. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось как бешеное.

— Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel… [5]

---

[5] Примечания: 5
Проклятая погода! И какого черта… *(нем.).*

— Halte's Maul, Otto!.. Links halten!.. [6]

Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновения при вспышке ракеты мы в реденькой пелене дождя разглядели их, рослых (может, мне так показалось потому, что я смотрел на них снизу), в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый — в блестевшем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди.

Их было четверо — дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что проскользнул Иван Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев».

Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в десяти от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка.

Мне было труднее, чем Холину. Я не был раз-

---

[6] Примечания: 6
Придержи язык, Отто!.. Принять левее!.. *(нем.).*

ведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание — вернее, жажду, потребность, необходимость — немедля убить их! Я завалю их как миленьких, одной очередью! «Убить их!» — я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он словно тисками сжал мне предплечье, — опомнившись, я опустил автомат.

— Они заметят лодку! — растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились.

Холин молчал.

— Надо что-то делать, — после короткой паузы снова зашептал я встревоженно. — Если они обнаружат лодку…

— «Если»!.. — в бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить. — А если застукают мальчишку?! Ты что же, думаешь оставить его одного?.. Ты что, шкура, сволочь или просто дурак?..

— Дурак, — подумав, прошептал я.

— Наверно, ты неврастеник, — произнес Холин раздумчиво. — Кончится война — придется

лечиться…

Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним — другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то там по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли.

Тошнотный трупный запах отчего-то усилился. Я отплевывался и старался дышать через рот, но это мало помогало.

Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни мне так не хотелось курить. Но единственно, что я мог, — вытащить папиросу и нюхать ее, разминая пальцами.

Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.

— В овраге глина, будь она проклята! — вдруг зашептал Холин. — Сейчас бы хороший ливень, чтоб смыл все…

Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохранятся, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокойство: если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега

через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей.

Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно услышав, поинтересовался:

— Ты что это?

— Курить хочу — умираю! — вздохнул я.

— А к мамке не хочется? — спросил Холин язвительно. — Мне вот лично к мамке хочется! Неплохо бы, а?

Мы выжидали еще минут двадцать, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облегала спину. Дождь постепенно сменился снегом — мягкие, мокрые хлопья падали, белой пеленой покрывая песок, и неохотно таяли.

— Ну, кажется, прошел, — наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся.

Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, то и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался: я боялся, что он осмеет меня.

Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более пяти шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо:

— Останешься здесь. А я пойду за лодкой. Чтоб случ-чего не всыпаться обоим. Подплыву — окликнешь меня по-немецки. Тихо-тихо!.. Если же я нарвусь, будет шум — плыви на тот берег. И если через час не вернусь — тоже плыви. Ты ведь можешь пять раз сплавать туда и обратно? — сказал он насмешливо.

— Могу, — подтвердил я дрожащим голосом. — А если тебя ранят?

— Не твоя забота. Поменьше рассуждай.

— К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки, — заметил я не совсем уверенно. — Я смогу, давай…

— Я, может, так и сделаю… А ты случ-чего не вздумай рыпаться! Если с тобой что случится, нас взгреют по первое число. Вник?

— Да. А если…

— Без всяких «если»!.. Хороший ты парень, Гальцев, — вдруг прошептал Холин, — но неврастеник. А это в нашем деле самая страшная вещь…

Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание: я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести и малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтоб хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался.

Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал:

— Хальт… Хальт…

— Тихо, черт! Иди сюда…

Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.

— Как там у оврага, тихо? — прежде всего поинтересовался Холин.

— Тихо.

— Вот видишь, а ты боялась! — прошептал он, довольный. — Садись с кормы, — взяв у меня автомат, скомандовал он и, как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения.

Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду.

Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами; надо было

поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.

— Ты куда? — спросил я, не понимая.

Не отвечая, он энергично работал веслами.

— Куда мы плывем?

— На вот, погрейся! — оставив весла, он сунул мне в руки маленькую плоскую фляжечку.

Закоченевшими пальцами, с трудом свинтив колпачок, я глотнул — водка приятным жаром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему била меня.

— Пей до дна! — прошептал Холин, чуть двигая веслами.

— А ты?

— Я выпью на берегу. Угостишь?

Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман.

— А вдруг он еще не прошел? — неожиданно сказал Холин. — Вдруг лежит, выжидает… Как бы я хотел быть сейчас с ним!..

И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы «случ-чего» снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели

и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега обнаружить нас было, наверно, невозможно, но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, за чем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал:

— От таких глупых пуль может сгинуть только дурак или трус! Учти!..

Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал.

— А фельдшерица у тебя ничего! — немного погодя вспомнил он, очевидно желая как-то меня отвлечь.

— Ни-че-го, — выбивая дробь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице; мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная печка!..

С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.

— Ну, вроде прошел, — наконец сказал Холин и, задев меня валком, сильным движением весел повернул лодку.

Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли

неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения.

Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой! Кто идет?..» Я назвал пароль — меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег.

Я был совершенно измучен и, хотя выпил грамм двести водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал закоченевшими ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, а «язык» где же? — оборачиваясь, вдруг весело спросил он.

— Какой «язык»?

— Так, говорят, вы за «языком» отправились.

Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.

— Язык у тебя во рту! Вник?! — сказал он резко, отчетливо выговаривая каждое слово; мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот: этот

Холин был слишком прям и вспыльчив — он мог так сделать. — Язык у тебя во рту! — угрожающе повторил он. — И держи его за зубами! Тебе же лучше будет!.. А теперь возвращайтесь на пост!..

Как только Зуев остался в нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко:

— Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь…

В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал:

— А ты тоже штучка! Бросил батальон, а сам на тот берег за «языком»! Охотничек!

* * *

В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем.

Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Очутившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный.

Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.

— Эх, если бы знать, что сейчас с ним! — вос-

кликнул вдруг Холин, поднимаясь. — И в чем там дело?

— Что такое?

— Этот патруль — на том берегу — должен был пройти на полчаса позже. Понимаешь?.. Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.

— Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали — не меньше часа, — и все было тихо.

— Что — прошел? — спросил Холин с раздражением. — Если хочешь знать, ему нужно пройти более пятидесяти километров. Из них около двадцати он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей!.. Ну ладно, разговорами не поможешь!.. — Он убрал карту со стола. — Давай!

Я налил водки в две кружки.

— Чокаться не будем, — взяв одну, предупредил Холин.

Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии.

— Эх, Катасоныч, Катасоныч... — вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: — Тебе-то что! А мне он жизнь

спас…

Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал:

— Еще!

Выпив сам, я налил по второму разу: себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нарам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес:

— За то, чтоб ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее!

Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью…

Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка — хотя я встречался с ним всего лишь два раза — был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердце волнения думать о нем.

Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный, угрюмо посматривая на меня покрасневшими, возбужденными

глазами.

— Третий год воюешь?.. — спросил он, закуривая. — И я третий… А в глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали… За тобой батальон, полк, целая армия… А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин. — Ребенок!.. И ты ему еще ножа вонючего пожалел!..

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, сверла, зубила, — мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалам «К. Х.». Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчи-

тывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...».

Финкой я почти не пользовался; правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и, если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу — она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издалека сразу, как вышел на опушку рощи, где распола-

гались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.

В роще, где мы расположились, было тихо, поседевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я живал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки.

Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное…

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в различных позах валялись на дороге, в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофер и лейте-

нант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо — я не мог разобрать их званий — лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами, смуглое мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я. — Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив, — здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами.

— Я все-таки переправлял его, понимаете…

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для

армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное… У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить… — Расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. — Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю… — вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее. — Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десяток, не меньше. Целый сундучок собрал… Что поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж… если увижу, передам…

— Так он что… не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушел… Сам ушел…

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел… И винить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе…

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое

и задумчивое:

— Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя… Может, еще вернется, а скорей всего к партизанам уйдет… А ты о нем забудь и на будущее учти: о закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут… Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем — ты не обижайся — не положено! Так что впредь запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

…И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату… Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване — как посоветовал мне подполковник — я, понятно, не мог. И, не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю

что-либо о его судьбе.

9

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал 2 мая, в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась Гехайме-стаатсполицай — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвертого — верхнего — этажа были обнаружены невесть как уцелевшие шкафы с делами и огромная кар-

тотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги! — подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш.

На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше помещался гараж на десятки, а может, на сотни автомашин; из них осталось несколько — поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся: бункер, трупы, воронки от бомб, в углу двора — саперы с миноискателем.

Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-веревку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции — группы армий «Центр»; относились они к зиме 1943/44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных

донесений и спец-сообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о народных мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков, Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт, — вставали передо мной.

В делах было немало учетных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — Стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре города по-

лыхали пожары, и если на окраинах, где много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; черный дым стелился над руинами.

— Несите все в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце мое сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов…

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбычась, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке ниже скулы темнел кровоподтек.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколот листок с машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

«№… гор. Лунинец. 26.12.43 г. Секретно. Начальнику полевой полиции группы „Центр“…

…21 декабря сего года в расположении

23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10–12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи — Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Семиной Марии он назвал себя „Иваном“) оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винца был доставлен в полевую полицию…

При обыске „Ивана“ были найдены… в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено… Особые приметы: посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой — шрам касательного пулевого ранения…

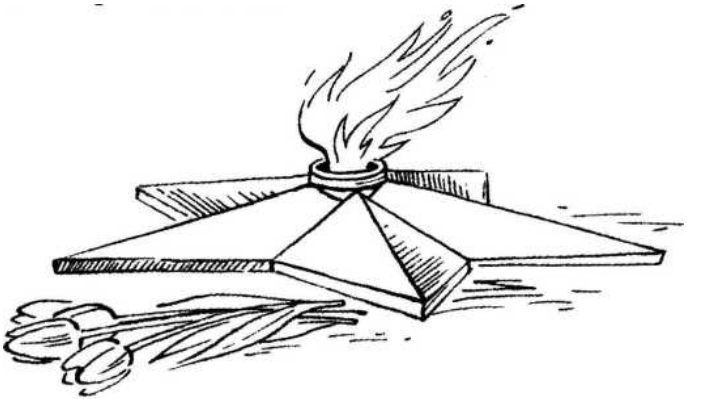
Допрашиваемый тщательно и со всей

строгостью в течение четырех суток майором фон Биссинг, оберлейтенантом Кляммт и фельдфебелем Штамер, „Иван“ никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55.

…Титкову… выдано вознаграждение… 100 (сто) марок. Расписка прилагается…»



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Серия рекомендована
Департаментом
общего среднего образования
Министерства
общего и профессионального образования
Российской Федерации



Художник
Ольга Подивилова

9 785978 109757